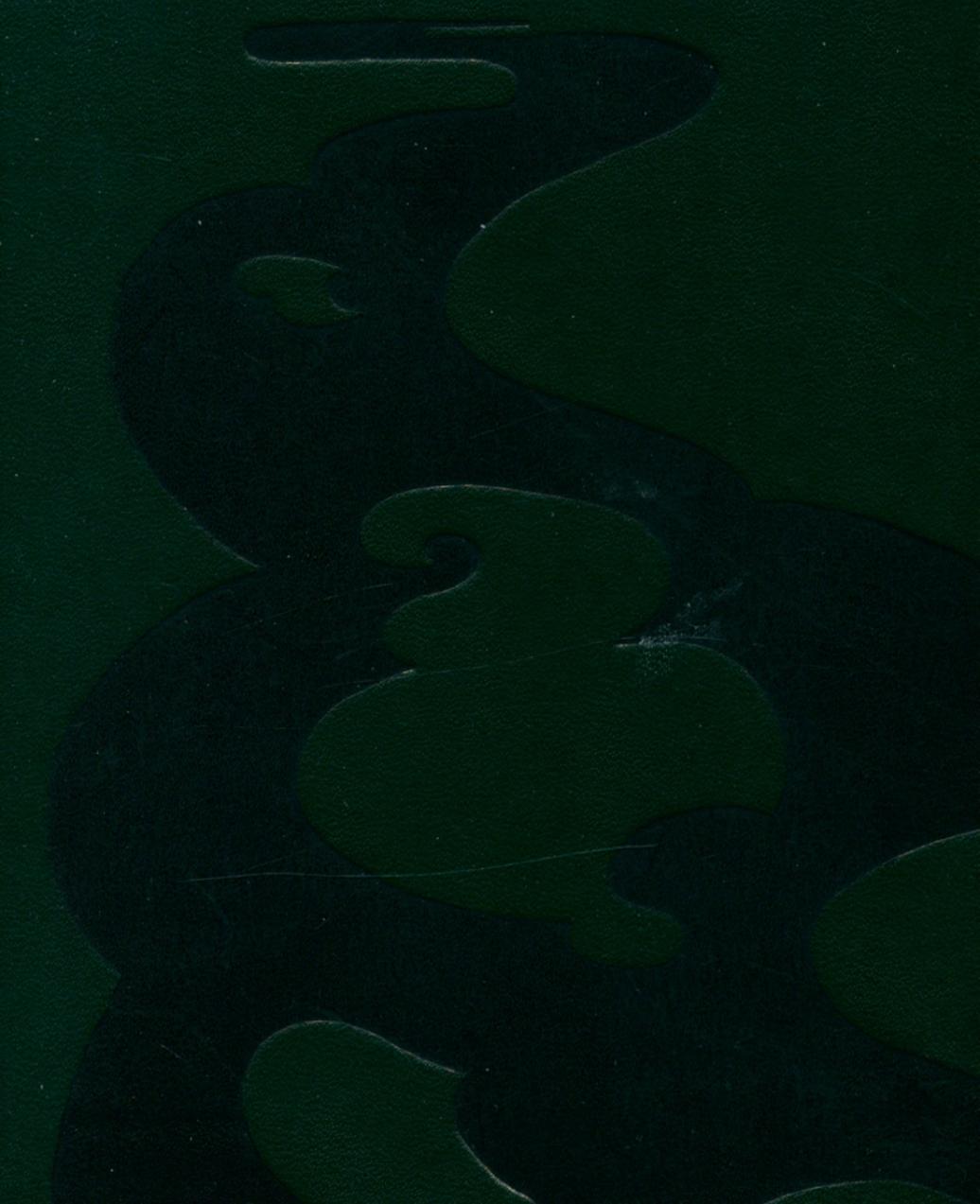

Марк Харитонов

День в феврале



Марк Харитонов

День в феврале

Повести

Москва
Советский писатель
1988

Два Ивана

И
И

Часть первая

1. Иван Беспамятный

1

Его увидел среди поля прохожий нищий и перепугался до смерти. Было утро, густая дымная мгла лежала над опаленной землей. Из дыма выходил кто-то на тоненьких ножках, закопченный, голый, небольшого росточку и вроде бы с бугорками на маковке. У бедняги обвисла челюсть, а позвонки стали наперечет. Перекрестился, конечно, да от испуга и крест вышел не крест, а так — судорога перстов; заморыш приближался неотвратно, воздух вокруг него колебался, и слышалось верещание, похожее на смех. Но тут стало видно, что на ногах его, слава господи, пальцы, на голове всего лишь колтун в гнойной золе. Это был какой-нибудь одичалый сирота из погорельцев — с животом, раздутым от голода, и выпирающим пупком. Ключкой бы на нем отыграться, да он ближе не подошел, камень поднять — ослабела спина; на слова — и то жаль было тратить пересохшее горло. И отдышавшись, нищий просто заковылял по дороге дальше, а он с похожим на смех верещанием трусил вслед, точно приبلудная собачонка.

2

То было в лето, когда крылатый червь летел от востока к западу, поел посевы и засушил деревья. Солнце выжгло с небес влагу, и по безводью сам собой занимался огонь. Горела земля с травой и лесами на ней, дымилась воспаленные внутренности болот, мгла стлалась по ветру, и за пять шагов не видать было друг друга. Люди разбредались по дорогам, оставляя дома в пищу пожарам. Слабели на лету птицы, и рыба потóm пахла дымом два года. Вопль стоял под небесами, скажет о тех временах очевидец, но слова эти понимать надо в смысле скорей духовном: на

подлинное сотрясение воздуха редко доставало сил. Безмолвие угнетало душу, как на мутном морском дне: ни птичьего крика, ни лая собак, ни волчьего воя. Ветер не находил листвы, способной зашелестеть. Беззвучны были шаги по раскаленному праху, немые облачка вспыхивали из-под стопы. Тела людей колыхались в сухом мареве, словно водоросли, и желтый тусклый зрачок силился разглядеть что-то в глубине.

3

Своего имени он не знал, кто он и откуда — сказать не мог. Гнилозубый монах-побирушка заново крестил его по дороге, спихнув для забавы с берега в безводную реку, и велел зваться именем Ивана, покровителя дураков.

— С именем Иван, а без имени болван, — изрек он при этом глубокомысленно, но непонятно, а беспамятный смеялся и дрожал от озноба, выкарабкиваясь по осыпи из купели, где твердый донный песок повторял узор исчезнувшей ряби. Можно было подумать, что смеется он над шуткой крестителя, а то и над ним самим — но синева глаз младенческая! Он словно родился заново из дыма и гари — без прошлой памяти, однако в разуме уже пригодном, чтобы вбирать, точно сухая земля влагу, все что обступало его звоном, маревом, гулом, что искало названия и впервые твердело, соединяясь со словами.

4

Оборванные концы, сияющие черви копошились на исподе закрытых век — лица и голоса, неосмысленные, толпились без связи в еще гулком вместилище, в пустой оболочке, заменяя дураку собственную разумную душу. Язык его ныл в гортани от голода встречных людей и скрипел от сухости чужой жажды. Кряхтели черные скелеты деревьев — он ощущал их дрожь до ломкой боли в костях. Комар садился ему на запястье, дурак подносил его близко к глазам, вглядываясь в наполненное, суховато-сочное тельце с упругими ножками, и чувствовал сладость собственной крови, переливавшейся по волосяному хоботку, и смеялся от удивления перед новым своим существом — а потом прихлопывал его ладонью и ощущал с криком боль и смертный грохот, погасивший свет, и заворуженно смотрел на пятнышко кровавой мрази.

Так он мог уставиться вдруг на человека, точно в ожидании подачи; на самом деле нужно ему было другое. Ему казалось, что все вокруг знают и помнят о себе что-то, про что он не умел даже спросить. Прежде слов вырывался из горла смех, словно бульканье из-под воды. Этот невольный звук удачно помогал ему скрывать бессилие, зато смущал людей, вызывая естественное желание дать дураку пинка. А он, как собака, спешащая заглазить позор ошибочного, невпопад, лая, смеялся дальше уже нарочито, представляя дураком худшим, чем, может, был на деле. Может, больше всего отличал его от других этот стыд непохожести — смутное ищущее беспокойство запоздало рожденного и потому не притерпевшегося к жизни ума. Потому что у людей вокруг едва ли нашлись бы слова для тоски своих невнятных чувств, а может, и самих чувств не было, как нет их у всех нас в меру нашей бессловесности и косноязычия.

2. Сказка

1

— Вот было как. Шел Иван-дурак по дороге, слышит: береза сухая скрипит, да так жалостливо. Что, спрашивает Иван, дрожишь, как от холода? Ну, на тебе мою шапку. Надел шапку на сук — береза скрипит. Никак не угрешься? Возьми еще и рубаху. Повесил рубаху — скрипит береза. Еще не тепло? Так на тебе и порты. Вот остался в чем мать родила, слушает, а береза-то скрипит: дур-рак, дур-рак. Он рассердись, орясиной по стволу хрясь! А та отскочи — да ему же по лбу. Трое суток пролежал дурак, очнулся — ничего не помнит, хоть лоб взрежь. Кругом темно, в небе звезды, сам лежит среди поля голый — кто такой? Себя не узнает. Пойти, думает, поспросить людей, вдруг кто опознает да скажет... Ну что смеешься-то, что булькаешь? Я про тебя, Беспамятного, может, больше знаю, чем ты сам. Хочешь, еще расскажу?

Когда Бестуж смеялся, рожа его наливалась краснотой и казалась распаренной, сытой. Клокотала в жаркой пещере влажная глотка. Он промышлял прежде со скоморошьей ватагой, теперь остался один — коротконогий, растрепанный, потный, бороденка пегая, клочковатая. Беспамятный едва не наступил на него затемно в поле; за спиной дергались отблески чужого костра, наполняя пустое пространство громадными отдельными тенями, под еще не остывшим небом тускло светились, вздымались судорожно голые грязные ягодицы, и дурак, уставясь с открытым ртом, долго не мог понять, почему у человека на земле оказалось две пары ног. Сладкий тленный запах подступил к горлу тошнотой, неспособной извергнуться без пищи, и Бестуж, отделяясь от второго тела, отогнал Ивана побоями.

3

— А вы чего? Вы щериться-то погодите. Ему в беспамятных, может, ходить тридцать лет и три года. А там, глядишь, еще царскую шапку примерит. Что? Не слыхивали никогда, как Иван-дурак сажился на царство? А как он, в бочке сидя, волка за хвост поймал? Дураку ведь счастье, а вам, умным, еще как бог даст.

Среди изнуренных сухью дорожных людей Бестуж один не потерял силы похабничать и зубоскалить — как будто ел больше других. И вот ведь — слушали, даже поддавались, раздвигали в ответ пересохшие до корок губы. В крошечном мире уже готов был крюк, чтобы подвесить скомороха за пуп, Бестуж видел его своими глазами, даже трогал вот этими пальцами черную, теплую от жара окалину и охотно рассказывал сказку своих походов, особенно подробно — до стога в брюхе — вспоминая всякую попутную пищу и угощение.

4

Лицо его цвета костра было веселым, страшным и переменчивым, белки глаз багровы, как у тех нераспознанных поначалу гостей, которым он играл на гудке в натопленной до одури избе, играл, не чуя усталости, три года, а показалось три дня. Что, думает, за чудеса? Даже струны ни разу не лопнут — господи, благослови! И только поду-

мал так — струны в ключья, огни в дымных плосках заматались и чуть не погасли, а гости перестали плясать и огорчились. Их прямо перекорежило — вот-вот потекут, а один совсем вывернулся наизнанку, словно рукавица, и занял дурным, как зубная боль, голосом. Ну что, говорит, за отродье несчастное! И повеселиться не могут без памяти. Не могут без словца, хоть пустого. И пошел стыдить скомороха, но, между прочим, по матушке не обмолвился ни разу, и только тут, в одних онучах, с гудком в обвисшей руке, Бестуж уразумел, к кому угодил и почему его в сених заставили снять лапти.

5

Стрекоча, взлетали из огня яркие мухи, остывали в вышине точечками звезд. Ряженая нечисть вздумала поиграть в людей, потешиться в их шкуре — и не понравилось, нет. Заскучали, плюнули. Иван-дурак смеялся, и Бестуж один умел понять застрявший вопрос:

— Что? Почему лапти велели снять? А потому что крестиком плетутся.

Он много еще мог рассказать: как научился управляться с ними, едва уразумел, что страшней любых заклятий для них простые матюки, про чудеса, которые они показали ему в награду за игру, про дивный сад, где тяжелела на ветвях даровая пища, где птицы сирины и попугаи, не говоря уже о простых утках, сами прилетали на зов, и можно было брать каких хочешь, а остальных прогонять. Но соблазнительней всего оказалось заглянуть в книгу, где был расписан конец каждого. Для неграмотных книга читалась сама собой и обещала, что скомороху не будет погибели ни от голода, ни от жажды, ни от топора, ни от петли, ни от мора, ни от отравы. А от чего? От ковша холодной воды, от шутовской руки, и понимай как хочешь.

6

Но отсмеявшись и заставив смеяться других, Бестуж скоро весь обвисал, как обвисали на его тощем заду, едва не спадая, порты. В утреннем свете лицо становилось серым, цвета дорожного праха, — как все вокруг. Кадык выпирал из-под слипшейся бороденки.

— Ну, чадо убогое, подбери губу,— говорил он с внезапной скукой и скреб ногтями горло.— Что у тебя смех-то не как у людей? Люди смеются «хо-хо-хо» или «ха-ха-ха». А ты, ну-ка?.. Э, господи! Смешно — так не страшно, а тебя послушаешь: и смешно, и кожу дерет. Сам себе дураком кажешься.

Он обводил взглядом лежащих — кучки неживого тряпья; так опадает тряпьем кукольный Петрушка, едва из него вынималась рука, заменявшая и кость, и душу. Равнина кругом была пуста и щетиниста. Отяжелевшая мгла лежала в земных выемках.

— И то сказать... Вот эти все, и мы с тобой — кто? Не знаешь, дурак? Люди. Род человеческий. А эта пыль, вонь, дым кругом? Мир божий. Запомнил?

— Мир божий,— повторял Беспамятный, глотая слюну.

— А спроси, куда мы идем? Вон этот, видать, поумней нас с тобой, уже дошел и вставать не хочет — спроси его. Не скажет. Задаром потому что — обидно. Сам, дурак, походи, сам до конца отмучься — авось узнаешь.

3. Сон

1

Дал бог Ивану виденьице с детства на всю жизнь: ночью врываются к нему в спальню. В свете факелов — пузыри глаз, черные ноздри, оскал зубов, дремучие задранные бороды. На расписных сводах, среди схлестнувшихся цветов, кудахтая, мечутся грифоны, вспыхивают, выпрастываясь из рукавов, кулаки с наростами перстней — и разбиваются о воздух круг его ложа, точно оно ограждено заповедной чертой. Казалось, прорвись к нему удар, было бы не так страшно, боль могла бы пробудить от унижительного оцепенения. Он чувствовал себя нагим перед этой сворой и стыдился своих тонких ног, бессильного срама, одновременно детского и стариковского. Главное же бессилие было в том, что он не мог никого узнать, хоть все были памятны по прошлым снам,— и знал, что не вспомнит их, очнувшись, но все всматривался, всматривался, завороченный ужасом, чтоб угадать, запечатлеть хоть зацепку для будущего, которое сквозь сон и ужас предчувствовал с мстительным замиранием.

Есть приметы, как распознать за видимостью нутро. Толстогубый гневлив и небольшого ума. Широкий рот выдает грубость сердца и склонность к обжорству, волосатость скажет тебе о жестокости и скотстве, зубы выпуклые и частые — о твердом нраве, хитрости и коварстве, а редкие и прямые — о здравом разуме и верности слову. Впрочем, насчет верности — уже бабка гадала надвое. Кто спорит, от человека с серыми глазами не жди добра, — так ведь и от других не жди? Если ты бородой апостол, а по зубам собака, Иван судил по зубам и всегда оказывался прав. Но сон не давал никакой подсказки. Узнавание приходило уже после, внезапно, в единственный краткий миг, а цену ему он знал еще мальчонкой, когда спешил взглянуться в глаза псов, сброшенных с колокольни, пока не успели потускнеть зрачки с перевернутой картинкой среди выпуклых небес, крохотных до умиления. Предчувствие истины наполняло его непонятным пока трепетом, и еще детская плоть его напрягалась и твердела.

Между прочим, ведь маленький был, отрок, можно сказать, невинный, но уже и это постиг: как недолго дано длиться высшему торжеству жизни. С годами он учился растягивать его, и возможности появились несравнимые. Посадить врага на кол, сладко ощущать свою силу, пока он проникает, внедряется, час за часом... но не о том речь. А о чем? О мгновении, на жизненной грани, но еще по сю сторону, прежде чем в корчах высвободится последний вопль: вот тут-то вспыхивало иногда, вспоминалось что-то, неизбежно мучившее: в искаженных чертах он узнавал еще одну рожу из страшного сна, задним числом подтверждая свою правоту, рассчитываясь за испуг и бессилие. Как ему бывало жалко себя, и как он боялся, что этот страх и слабость будут угаданы, прежде чем он опомнится! Прорывался пузырь, становилось легко и пусто. Увы, в следующий миг — что ему было до этой мерзостной плоти, обмякшей, кровавой, растерзанной? Разве что потоптать напоследок. Прав был мудрец Соломон (или кто там?): до обиды лишена полноты жизнь, нет в ней наслаждения и торжества, не отягощенного заранее новым томлением. Можно было лишь повторять попытки. Чем был хорош сон — он возвращался, неисчерпаемый.

Спальник Гришка вбегал на его привычный вопль — молодая бородка свалена на сторону, — таращил наглые понимающие глаза, умело оберегал от побоев пах, живот и лицо, подавал поскорей тяжелую шапку в собольей опушке, с крестом и золотой филигранью. Шапка прихлопывала страхи, приминала их, как ночных мотыльков, — сыпалась белая пыльца, толклась в двухцветном луче у слюдяных оконных ячеек, сливалась с узором стен. На разметанной постели, в исподней рубахе и шапке, он прихлебывал огуречный рассол из сердоликовой чаши — этой чаши, говорят, касался губами сам Август, обладатель вселенной, тот Август, чье царствование недаром почтил явлением Христос и чьим наследником — как вспомнили, наконец, сведущие летописцы — Иван мог считать себя через Пруса и Рюрика. Утихала похмельная изжога. Возвращалось к голове тепло, возвращалась памяти опора. Он почесывал обкусанными ногтями грудь под рубахой, медленно, все с большей яростью, с наслаждением. Зрачки, расширенные в потустороннюю черноту, ужимались в острые пронзительные точки, и холоп-ровесник разве что хвостом не вилял — глядел на него с радостным ожиданием, как собака, предчувствуя веселый день.

4. Келья

1

В житии пустынника Макария напишут потом, что он умел бессловесному скоту внушить разум и обучил однажды грамоте беспамятного дурака. На иконе он рисован маленький, согнутый над раскрытой книгой, — говорят, сидел над ней годами, не поднимаясь, ибо достиг такой святости, что уже не справлял нужды и гузном пустил в скамью корни. Келья вокруг его тела крохотная, как на разрез скорлупа, облегшая ядрышко, а снаружи покрыта вся дремучей шерстью: дивным образом разросся на ней мох, заткнутый между бревен сруба. За клоком этого руна тянулись отовсюду с тех пор, как некий Лука — из монастырских людей — исцелил с его помощью спину, скрюченную двенадцать лет. Помогал также мох от грыж, сухотки, вздутия живота и от икот, называемых кликуши.

Его бы весь давно ощипали с корнем, не постыдясь лишить тепла скрюченного внутри обитателя, если бы в соседстве благодатной кельи не разрослась со временем целая пустынь, где было кому заботиться о порядке.

2

Есть белый червь в ручьях и протоках: он на песчаном дне строит вокруг себя жилище из песка, подобное раковине или панцирю, а нет песка — облепится мелкими камешками, веточками древесными, любым донным сором и живет, чем принесет вода, — невидный, неслышный. Ковырни в дырку соломинкой — вылезет с другой стороны голый, беззащитный, будто без кожи, отползет поодаль и начнет наращивать новую оболочку. Выковыряли когда-то Макария, выжили из монастыря. А мог бы корпеть там над книгами безобидно, обособленно, терпеливо, не замечая ни пьяного звона колоколов, ни беспорточных чернецов, изгалявшихся за стеной вокруг ушата с вином, а с ними мирян обоего пола — если б их его соседство не оскорбляло, как перхоть в горле, если б не тащили его к ведру силком, не вливали зловонное зелье сквозь стиснутые, но, увы, щербатые зубы, не окунали в него головой, грозя утопить. И ведь однажды чуть не утоп взаправду: вдруг из ведра высунулась ручища мохнатая, потянула за волоса вниз — еле вырвался; но испугался, поняв, кто его преследует.

3

Он, пожалуй, сам не представлял вполне, что его ждет, когда по примеру книжных пустынников уходил летней тропой в лесное уединение (не слишком далеко, правда — сколько прошел за день): и первой же зимой едва не замерз до смерти в неумело поставленном срубе с земляным полом и глинобитной беспомощной печью, закоченел, словно лягушка во льду, но к весне оттаял, оттерпелся, ожил — не заботясь о пропитании, готовый обходиться, как птаха, подножной малостью, зернышком, травкой, ничем, полагаясь больше всего на божий промысел, — и ведь не ошибся в конце концов. Хотя подумать со стороны: откуда при телесной хилости нашлась в нем сила не только выжить, но даже не ужаснуться затерянности среди гибельных волчьих лесов, тоске осенних дождей, смертной стуже, го-

лоду, ночному вою зверей? Он ведь не искал подвигов пустынных — скорей всего просто не замечал ничего толком, как не заметил потом возникшего за спиной селения и даже пристроенных кем-то к его срубам теплых сенцов, где, не удивляясь ничуть, стал находить со временем еду и колотые дрова.

4

Наслаждением его жизни была когда-то переписка книг, и он пережил не меньше иных, не выходя за порог. Цареградский юродивый Савва, искавший испытать все роды и страсти жизни, по возможности не оставив неиспробованным ничего, был его собеседником, и блаженный Никодим, оскопивший себя, дабы вовсе избавиться от страстей, но утеревший лишь силу, а не желание, и горемыка Иона Египетский, погубивший душу за возможность пребывать попеременно в естествах мужском и женском, не сохранявших, однако, памяти друг о друге. Он видел их перед собой так явственно, что нездешняя пыль и перхоть со склоненных в беседе голов оставалась между страниц, а сам держался со скромностью человека, которому есть что сказать в ответ, но которому сперва надо выносить некое слово.

5

Мысль его смутилась однажды, когда он переписывал из Святого Луки про красоту и блаженство лилий. Верней, чуть позже: «Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут...» Да, но они охотятся,— вдруг в сомнении осеклось перо, а перед взором встала птичья драка, летящий пух, выклеванный кровавый глаз. Впервые он подумал тогда, что если истина не должна быть замутнена страстью, то она доступна сполна лишь существам, возрастающим на недвижимом корне; человек несчастнее растения не только потому, что лишен даровой пищи в земле и вынужден метаться по ее поверхности. Отсюда мысль заходила так далеко, что записывать он опасался, дабы кто-нибудь, посмотрев, не обвинил в ереси; к тому же на нее не хватило бы и бумаги. Последнюю стопу он собственноручно переплел в липовые доски, заранее разлиновав шильцем строки по рамке с натянутыми жилами; потом в лесу он отогревал книгу на собственном животе, оберегая от плесени, кото-

рая, увы, все тесней ужимала с боков скудные оконца близны. Над этими пустыми страницами он сидел, не разгибаясь, вслушиваясь, как тяжелеют до нужной весомости слова, и уже близко предвкушал заветный миг, когда сможет взять в пальцы перо.

6

Он сам не мог бы вспомнить, что побудило его оторваться от скамьи в то белое осеннее утро, когда судьба свела его с Беспамятным на скользкой лесной тропе. Снежок коварно прикрыл заледенелую с ночи слякоть, белыми лилиями лег на зеленые **стебли**, по-летнему торчавшие из ручья. От черной воды поднимался пар. Ему потом казалось, что он услышал странный звук еще прежде, чем оскользнулся, что это бульканье, как толчок, и вывернуло землю из равновесия, накренило вбок и вверх, чтобы уже оттуда обрушить острием о хребет. Когда боль отпустила и свет вернулся к очам, воздух трясло от сдавленной морозной дрожи, размашистая ухмылка заслонила полнеба. Встать он сам не сумел. Дурак на себе дотащил его до кельи да там и остался надолго.

7

Беспомощный, неподвижный, с руками, скрюченными после падения в дрожащие лапки так, что не могли не то что перо взять — кусок донести до рта, Макарий тогда впервые по-настоящему испугался; ему показалось, что это навсегда. Долговязое тело Ивана заняло не просто весь свободный воздух в тесной, на одного, скорлупе, где и стоять и лежать можно было ему лишь согнувшись, сложившись по углам. Он вытеснил и многомудрых собеседников — места для них не оставалось; хоть с дураком говори — но о чем? За ночь шапка его примерзала к стене, он отдирал ее по утрам с тем же невыносимым смехом. Прогнать его Макарий не имел силы, да и не обошелся бы теперь сам. Вот тогда-то произошло чудо, о котором после писалось в житии. Однажды во сне дошел до старика голос: может, неспроста, лишив тебя рук, господь подсунил в келью своего недоумка? «Но как же... — забормотал Макарий (не потому, что дерзал спросить, а чтоб выманить дополнительный намек), — он едва языком-то вяжет». — «Как будто не случилось заговорить и ослицам», — напом-

нил голос уже слегка укоризненно, однако старик готов был это стерпеть: до него, кажется, доходило. Он даже не удивился, когда, раскрыв глаза, врасплох застиг Беспмятного с пером в руке: словно умный зверь, тот вертел его в негнущихся от холода пальцах. Поразило лишь, как он сразу приладился,— будто держал не впервые, и улыбка узнавания раздвигала его щеки, измазанные печной сажей.

8

В одном не отвечало истине житие: Макарий даже не учил дурака грамоте. И как он мог это сделать, если не способен был ничего показать руками? Тем более безнадежно было объяснять все тонкости сладостной науки: как выбирается перо, третье или четвертое из левого крыла, как оно затачивается не единым ножичком, но тремя: первым вырезается скошенный полукруг, другим заостряется кончик, третьим оный расщепляется и подрезается с боков; как разводятся чернила из копоты, но лучше всего, конечно, из орешков, что вспухают на дубовых листьях, как добавлять в настой для густоты ржавых гвоздей или смешивать его с камедью, как смывать свеженаписанное смесью из молока, сыра и необожженной извести, как делать красную краску для буквиц, в сок плюща подбавляя собственную, но непременно теплую еще мочу... Нет, в том-то и было чудо: он просто спросил дурака, сможет ли тот писать с голоса, и, услышав ответ, не посмел усомниться.

9

Пот струился у него меж лопаток, сердце готово было оторваться от корня своего. Иван-дурак обернул к нему выжидательное лицо, и от вида ли его ухмылки, от собственной ли дрожи Макарий вдруг потерял начальную и главную мысль. Это было как наваждение. Вот сейчас он не просто помнил — видел ее уже написанной на правом листе, в обрамлении серо-зеленой ряски. Но буквы, из которых она состояла, смешались и прыгали, словно в решетке зерна. Он стискивал виски руками, чтобы вернуть, удерживать хоть обрывки,— увы, руки сами дрожали, усугубляя смятение. Молитва не помогала, мешал в ушах неотвязный смех, тот смех, что подкосил его однажды у лесного

ручья. Он проникал откуда-то сверху, сквозь кровлю, и, обратясь к иконе, Макарий убеждался, что она рисована по образу и подобию дурака.

10

Потом уже он приспособился. Он вспомнил, как учил Никодим смешивать чувственное око с умом: прилепи бороду к груди, удержи дыхание и устремись мысленно к месту, где помещается сердце — источник душевных сил. Что-то вспыхивало в памяти, точно узор ветвей, выхваченный ночной зарницей. Если Иван в это время спал, Макарий будил его. Тот равнодушно щелкал кресалом, затеплял огонь, зевая и почесываясь, брал перо в невымытые пальцы. Беда была не в том, что приходилось довольствоваться бес-связными мыслями, — но без связи они казались незнакомыми, теряли уверенность, становились какими-то вопро-сительными. Может, те подвижники, думал вслух он, что жили, зарывшись по пояс в землю, искали вовсе не истязания телесного, но предельного покоя души? Может, и птицам проще, нежели человеку, потому что он межеумок: не умеет ни взлететь, ни пустить корни в землю, с которой связан подошвами ног? И еще зачем-то долго пытался вспомнить, когда последний раз ходил босиком и ходил ли вообще, — но не мог. Зато без всякой надобности возникали перед взором глаза девки-колдуньи, которую закапывали живьем в землю за то, что насылала язву на скот, чье-то страшное лицо, залитое дегтем, и замазанный навозом рот...

11

Давным-давно в деревне, где он дорогой остановился на ночлег, ему случилось спастись от смерти молодого мужика, громадного, тяжелого, вонючего. Его поймали ночью в поле, сочли упырем и собирались сжечь. Напрасно уговаривал Макарий подождать, разобраться — слишком измучены были крестьяне засухой и поветрием. Кто-то огрызнулся на него, и Макарий оробел, сник, выговорил только право позаботиться о душе, исповедовать беднягу. У юноши была деготная повязка на глазах, рот заляпан навозом, он был так избит, что уже не чувствовал страха, и поначалу озадачил Макария признанием, что действительно повинен и в море и в засухе, ибо пытался взлететь на воз-

дух с помощью колдовства, впрочем, безуспешно. Надо было обладать книжной искушенностью, чтобы понять: бедняга тут ни при чем, ибо мужчине полет доступен лишь в святости, но в колдовстве — только женщине; это было известно столь же давно и доказано столь же неопровержимо, как то, что колдунов жгут, но колдуний надежней и полезней закапывать в землю, которой они причинили вред. Женщину не пришлось долго искать, тут же вспомнили про девку, дочку утопленной прежде знахарки; мужики даже удивились, почему не догадались сами сразу. Он помнил потрясение спасенного юнца и мог только гордиться ловкостью и пронизательностью, с какой отвел беду от невинного. Но что-то в этом воспоминании теперь тяготило Макария.

12

Проще думать о людях и любить их, переходил он поспешно к другому, не видя перед собой их облика. Цветок может служить иконой не менее человеческого лица, даже более, просветляя и помогая любить замысел божий, не искаженный насмешкой. И мысль сбивалась опять. Он велел записать Ивану про цветок боранец, что пасется в степях. У него курчавая шерсть, у этого цветка, и рожки ягнячьи, а также рот, коим он выщипывает траву кругом своего корня, мясо же напоминает по вкусу рачье и служит любимой пищей волкам. А время спустя перескакивал вновь: что до насмешки, то она разлита, видно, повсюду. Она уже в том, что, как ни убегай от мира, мир тянется за тобой, словно блохи или клопы, питающиеся человеческой кровью: поди удостоверься, живут ли они в местах безлюдных, если твое присутствие уже делает их не безлюдными... Иногда Макарий просил дурака перечитать написанное, потом перестал; ясности это не прибавляло. Шипели, падая в корытце с водой, красные угольки лучины. Под размашистым пером давно должны были растаять листы, невозвратимые и считанные, как дни жизни. Но Иван все писал, и старик чувствовал, что обещанное чудо продолжается: ему давалась возможность искать слово. О, наша жизнь, бездонная белизна, заполненная дурацкими заколючками! А что получалось на бумаге, Макарий взглянуть не решался ни разу и сам даже не пробовал встать.

5. Храм

1

Поднимаясь к Кремлю от Москвы-реки, Иван после долгого отсутствия увидел храм почти достроенным. Еще весь в лесах — хрящеватое чудище — он нарождался из уродливых наростов, словно из бреда; верхние главы в белом немецком железе уже проклюнулись. И внезапно Иван решил свернуть к нему, оставив прямо среди мостовой царский поезд и охающую Настасью, обложенную подушками в промерзлом возке, где холодный воздух был настоящим на испарениях большого потного тела, свиту, уже мечтавшую о теплом отдыхе, а главное, тех, кто выехал встречать: бояр, Сильвестра-попа, Алешку Адашева, всю эту свору, перегрызшуюся тут без него. Ждали-ждали заполучить его опять в руки, каждый себе — а вот выкусите! (Иван даже, пригнувшись, изобразил непристойный жест, никем, впрочем, не понятый.) Он представил, как станет выговаривать ему Сильвестр за вопиющее нарушение чина, как будет трястись его борода, и понял, что именно этого ищет, чтобы полней дать волю ответной, всю дорогу накипавшей ярости. Заторопили, заставили возвращаться в Москву по распутице немислимой, не дали и мороза дожидаться, а царица едва не при смерти, а в Ливонии войну сами-то упустили, замирились вынудили, когда победа была вот уже в руках, войска погнала на крымцев — зачем? Ливонцы тем временем снюхались с Литвой, сами чуть Юрьев не взяли, татары, глянь, уже на южных окраинах — возвращайся, государь, расхлебывай!

2

Только вспомнишь эту дорогу: лошади вязнут по брюхо, колеса обрастают глиной, возки перетаскивали на руках, а другие бросили. Сам под промозглым дождем на коне, грязью забрызган по брови. Сушились в мужицких избах, потом мужиков же заставляли разбирать жилье на бревна и мостить путь. Одно воспоминание особенно досаждало Ивану. Глядя сверху на смердов, копошившихся в грязи, он что-то сказал сквозь зубы про московскую сволочь — даже потом не помнил что. Ибо услышал вдруг, как холоп, раскорячившийся над бревном, испустил отчет-

ливый громкий звук. Иван едва не затоптал его конем; тут подскочили, совсем собрались было кончать, не разбираясь, в чем дело. Он смилостивился однако. Велел только укоротить невеже язык, как орудие возможной впредь дерзости, и хоть этой выдумкой немного развеселился. Но занозой осталось чувство: все теперь готовы возвысить перед ним голос. Кто есть Адашев, как не тот же смерд, и что все его звуки, как не зловоние наглое? А уже перед Москвой прихватил мороз, снег повалил — как в насмешку. (С них станется, с собак: найдут и колдунов — погоду наворожить.) А вот помрет Анастасья после таких мук — на ком будет грех? На них, бог видит, на них. Ивану заранее было жалко царицу. Больная, она давно ни на что не была годна, но теперь, оставив ее в коробке на морозе, он думал с жалостливым умилением: помрет ведь, правда, помрет. И со злобой: никогда им это не простится.

3

Мужичонка-мастер кинулся в ноги: черное лицо постника, волосы без шапки прилипли к темени, два передних зуба выбиты, и он, стыдясь, прикрывал их пальцами. Забормотал что-то невнятное — недаром прозванный Бармой. От него несло известью и рабским потом. У деревянного корыта с раствором толпились строители: лица — пятна с черными дырами ртов, как будто взгляд, всегда пристальный и сторожкий, против воли опасно расслаблялся, не вынося их вида. Иван не любил оказываться вровень с этой безглазой чудью. Ему надо было наверх, к куполам. Пока они поднимались с Бармой вдвоем по закрученным тесным ступеням, по дремучей путанице переходов и внутренних лесов, он успел справиться, без задержек ли идет работа, нет ли нехватки в людях и чиста ли глина для изразцов. Но слушал спиной. Он просто любил удивить при случае своим неожиданным знанием, осведомленностью в мелочах, для таких случаев нарочно прикопленных. Уже на самом верху, подбирая полу шубы, чтобы переступить через проем на внешние мостки, Иван вдруг оборотился и, быстро дыша в лицо мастеру, спросил: верно ли, что в раствор при основании стен подмешивают для крепости человеческую кровь? И заметил, как отвисла у мужика борода.

Снежная пыль бесконечно раздвигала воздух — далеко над крышами, уже почти стертymi белизной, над вздутыми, как в опаре, пузырьками низеньких куполов. Белые железные главы плыли, растворенные среди густого сияния, выявленные лишь слепящими бликами солнца. Мастер тискал в руке шапку. В пустом вопросе царя он подозревал скрытый смысл и осторожно пытался найти слова, достойные высоты, на которой вдруг оказались оба. Разве не всякий храм строится на крови, — примеривал он; то есть тут надо бы сказать о погибших под Казанью, о всех, чьи соки из-под земли питают вознесшийся камень... — но нет, слишком получалось мудрено для закоснелого, проклятого языка. Он сам ощущал этот камень и эти главы как свое преображенное тело; туда было отдано почти все, осталось только нужное пока для работы: жилы на голых костях да глаза, уходившие все глубже внутрь головы, которая сейчас наполнилась гулом изнеможения и странного восторга. Розовые дымы приплюснуты были у крыш, сады невесомым паром вливались в белые небеса. Подносчик с заплечной кладью шел к ним по узкой доске. Веревки вдавились в холщовую рубаху с полумесяцами темного по-та под мышками. Вдруг он поднял взгляд и пошатнулся от испуга...

5

Крик застыл над верхушками куполов. Расправили крылья, но не взлетали вороны. Края земли выгнулись вверх, как у блюда. На востоке проступал из марева белостенный город. Казань, узнал Иван; дальше виден был продолговатый Уральский камень, а за ним неведомо что. Вся страна казалась обозримой; можно было различить дома и людишек, крохотных, как блохи, и блошиное их копошение; всюду шевелилось что-то, кишело, переливалось своевольно и бессмысленно. Попробуй возьми в кулак — выдавится сквозь пальцы. За кремлевским холмом, далеко-далеко сливалось с праздничным переблеском море, словно в тех краях не знали зимы. На волнах, как рыбы левиафаны, резвились корабли с крутыми женскими боками, резные бабы на носу выпячивали русалочки груди. Дразнят, почувствовал Иван. Он видел хлябь и топь, схваченную белизной, сквозь нее проступали прозрачно коле-

са, телеги, конские туши, человеческие тела — слой на слое; войско шло поверх голов, присыпанных снегом, но не продвигалось ни на шаг. Человек наклонно завис в воздухе, цепляясь за него пальцами, лапоть его едва касался выгнувшейся доски, ноша тянула вниз. Висит, все так же легко и недоуменно отметил Иван. Упадет ведь... А мастер силился зачем-то вспомнить имя подносчика, но не мог.

6

Они застыли под небесами, мастер вровень с царем, над рухлядью дровяных построек, разросшихся на пожарище и вновь обреченных сгореть, как обречен был стать навсегда безымянным человек, еще касавшийся доски, насильно оторванный от тягловой крестьянской работы, чтобы добавить в кладку толику звездного камня. Останется лишь храм да царское имя — в веках, в летописях, в песнях. Барма вдруг почувствовал, что это правильно. Кто был бы он сам без этого человека, стоявшего рядом, без его державного величия и кровопролитных побед? Поставил бы еще десяток церквушек, деревянных, каменных, но никогда не воплотил бы привидевшегося однажды сна о семи дивных главах, вознесенных из одного корня... Множество голосов поднималось снизу, как пар дыхания, вливалось в восторженный гул ветра, и каждый голос сам по себе ничего не значил, как отдельная человеческая жизнь. Мастеру было жаль, что царь, видно, совсем забыл свой вопрос; язык казался небывало легок и послушен. Но что-то непривычное смущало его в этой мысли, что-то не по чину царственное, как будто он видел себя сейчас не перед людьми, а только под небесами. Вдруг он понял, чего испугался пошатнувшийся подносчик. «Чего?» — спросил Иван, как будто все звучало сейчас вслух. «Тебя, великий государь, увидел». — «Да ну?» — сказал Иван — и засмеялся.

7

Крик рванулся к небесам, как душа от тела, а оно уже расплющилось, крохотное, глубоко-глубоко внизу, среди рассыпанных на грязном снегу изразцовых звезд. Вороны взметнулись с шатра звонницы. Страх высоты, который сам тянет к краю, толкнул в грудь. Шапка слетела с головы Ивана. Мастер быстро подхватил его под локоть. Они стояли лицом к лицу, не узнавая друг друга. Губы Ивана

были искривлены, белки глаз — в кровавых жилках; он словно враз постарел и никак не мог понять, откуда взялся рядом этот мужичонка, почему выпучился, раскрыл щербатый рот, как будто ему нож в брюхо всадили. Кто такой? Зачем смотрит? Лестница закружила опять, стены сдавливали, скребли по плечам, и за каждым витком подстерегали ниши, как притаившиеся злодеи. Нарочно, что ли, так строят? Он, задыхаясь, опускался на привычное дно. И вдруг уяснил догадку: советничков всех, возомнивших себя с ним вровень, — туда вниз, в грязь, в снега. И Алешку Адашева первого. Стало сразу проще, как будто ради этой ясности он взбирался на высоту. В стенном проеме сравнялись со взглядом верхушки деревьев.

— Рано стал людишек-то вином поить, — сказал, обернувшись, Иван. — Леса снимете — сам угощу. А то побьетесь тут все. — И усмехнулся, давая понять, что и не было ничего, стоившего более этой усмешки. И не могло быть.

6. Никанор

1

Иван-дурак жил с Макарием, не собираясь никуда уходить и даже не чувствуя такой возможности, пока его однажды не забрал с собой Никанор, игумен ближнего монастыря. Он подкатил к келье в санном возке и увидел дурака, собиравшегося присесть по нужде. Слава об этом новом чуде, которое сотворил пустынный, уже доходила до обитатели, и Никанор задержался с Иваном. Он спросил Беспамятного, чем занят сейчас старец. «Познавши истину, изойдут корешками», — осклабился во весь рот дурак. Он все еще придерживал обеими руками порты. Игумен вскинул мохнатую бровь: что это значит? «Что есть легкость, — ответил Иван на вопрос вопросом, и можно было подумать, что он читает по писаному: — Вознестись над землей или же слиться с ней?» Никанор пристально посмотрел на него — дурак поехался от этого взгляда и сам, без вопроса, добавил еще про подвижников, зарывавшихся в землю; в глазах его нельзя было усмотреть ничего, кроме невинной синевы. «А в монастырь поедешь со мной? — спросил игумен. — Там теплей — и кормят досыта». Иван, булькнув, пожал плечами; в голосе игумена звучал не столько вопрос, сколько решение. Никогда не выбиравший

сам дороги, Беспамятный привык следовать за тем, кто ее укажет. Никанор велел ему закончить свое дело и подождать в санях, вознице — потеплей укрыть его медвежьей полостью, а сам, согнувшись низко, осторожно втиснулся в крохотную дверь.

2

Не из праздного любопытства отправился в путь через лес игумен. Пустынь Макарьева вспухала, как все более ощутимая болячка, в слишком опасной близости от монастыря; ее растущая сила становилась небезобидной. Подъезжая сюда, Никанор видел: горушка вокруг часовни вся обросла постройками, как трухлявый пенёк грибом, лесная тропа утоптана в проезжую дорогу, и по ней утекали дары и приношения, которые должны бы попадать в обитель. Он видел, как у амбара сгружали с розвальней мешки и суетился, покрикивая, Лука-первоисцеленный, в островерхом колпаке, с маленькой головкой и бабьим задом, похожий на раздутую черную пиявку, — скользкий плут, слишком понятный Никанору, чтобы на равных о нем тревожиться. Он приехал переговорить для начала с пресловутым чудотворцем, чья сила делала целебным мох, чтобы понять, с кем предстоит единоборство, — но даже не мог предполагать, кого перед собой увидит.

3

Келья долго не могла приноровиться к непомерному гостю, вся заскрипела, сжалась, курчавыми от инея бревнами уперлась ему в локти, скосом кровли заставила согнуть спину. К тому же свежий дым от глинобитной печи, как туча, закрыл вошедшего от пояса, и чтобы не задохнуться, лучше ему было поскорей осесть совсем на низкую лавку, да сгорбиться вдобавок, да голову втянуть в плечи, окончательно поступаясь величием осанки, — а келья все вздыхала и оправлялась. Зрение постепенно погрузилось в сумрак и сравнялось с ним. Ноздри игумена трепетали, он смотрел на человечка перед собой, ростом с ребенка, черного, усохшего, грязенького, с седой паутиной на замшелых щеках. Макарий неожиданно сам для себя приспособился сесть навстречу. Теснота сдвинула их колени в колени. Дрожащие лапки старика до побеления костяшек вцепились в тонкую ореховую палку, но не могли ее утихомирить.

Уже были произнесены подобающие приветствия и спрошено о здоровье. Никанор начал разговор сразу, предложив старику вернуться в обитель, где он найдет покой и уход, достойный его состояния и возраста. Макарий поблагодарил со всей чинностью, какая возможна была при сбивчивом от внезапной дрожи голосе, но сослался на привычку к лесному уединению. Игумен едва шевельнул бровью, точно ничего другого не ждал, а если и усмехнулся чуть-чуть, то это скрыла сивая борода. Талые с мороза капельки свернулись на ней, поблескивая. Суконная ношенная ряса поверх овчины подпоясана лычным поясом. На низкой лавке сидеть было как на полу, посох, пристроенный между колен, торчал выше головы. Взгляд глубоко посаженных глаз игумена заставлял вспомнить молчание, будто он по лицу человека угадывает мысль и в потайной камерке держит на заговоренной цепи самого нечистого, которому носит собственноручно лучшую еду, а также пиво монастырское, прочищающее желудок, и ведет с ним долгие разговоры, выведывая опасные тайны.

Не может быть, думал Никанор. Дано ли человеку так не измениться за целую жизнь? Разве еще только сморщился, усох — невесомый, как скорлупка насекомого: в пальцах можно с хрустом размять. И голос тот же: тихий, бесстрастный, журчащий, как ток крови в ушах. По стенам все обильней текло, в тишине слышно было шлепанье капель о шапку и спину. Келью наполнял все более явственно запах, — нет, ошибиться было нельзя, это был запах времен, когда не было еще Никанора — был недоросль с мирским прозвищем Булгак, сын ямчужного мастера, чернявый, едва опушенный первой бородкой, насквозь провонявший ненавистным отцовским ремеслом. Отец не зря селился всегда на отшибе. Там ставился амбар, к которому окрестные мужики повинны были свозить землю, известь, золу, главное же — навоз. Все это смешивалось в нужной мере, насыпалось в кучи-бурты, и отец долго потом лелеял их, поливал жижей, соблюдая меру влаги и сухости — не меньше двух лет, а бывало, и пять, пока созревшую смесь можно было ссыпать в кадки с двойным дном, выщелачивать, варить, сушить. Ямчуг, называемый также селит-

рой, шел на выделку пороха. Вонь порождала огненную силу, отец жил в этой вони, как рыба в воде, открыв в ней тайну молодости и здоровья. Весной, в праздник Рождества Предтечева, когда ночью из ближних деревень доносились звуки бубнов и дудок, когда там прыгали через костры и бродили по лесным болотам, ища колдовских трав, он снимал крест, разгребал кучу годовой зрелости, нагишом зарывался в нее по шею и с восходом солнца выбирался, дымясь, чуть не проеденный до костей, пьяный, как от вина, сытый, как от пищи, — имеющий тут, под рукой, все, над чем люди бились и чего искали в далеких краях.

6

Много лет спустя эта вонь открылась Никанору как запах укрощенной силы, способности быть счастливым и убогаторенным среди преющего навоза. Отец никогда не болел, волос его до старости оставался черен и чист от вшей; даже мухи его облетали. Мужиков он свысока презирал, как человек государев; впрочем, они отвечали ему тем же. Сыну была предназначена та же сытная жизнь на отшибе. Деревенские при всякой встрече дожимали его издевками, он лез с ними в драку — один на многих. Он даже искал встреч и драк — вымахал здоровенный. Его стали избегать, дразнили издалека. А бегать быстро он не умел из-за непомерной тяжести; по мягкой дороге след выдавливался на глубину лаптя, и девки смеялись, когда жердяные мостки подламывались под ним. Может, потому ночами снилась ему легкость полета, дуновение воздуха и облака внизу, прозрачные и твердые, словно кристалл.

7

Про девку, дочь знахарки, жившей за дальним озером у деревни Ногтевки, он услышал из разговора крестьян, привозивших дрова. Мать ее ногтевские мужики утопили, будто бы уличив в летанье по воздуху, а ее покуда оставили, чтоб бабам было к кому ходить за травами. Возчики судачили с равным неодобрением об этих странных делах, о самой Ногтевке, о тамошнем озере, про которое ходила темная слава. Рассказывали, будто оно иногда разливалось внезапно, без причины, затопляя все окрест, затем возвращалось с той же внезапностью в берега, оставляя на донной траве рыб и запутавшихся в осоке водяных со сли-

зистыми глазами. По этой земле, говорят, хорошо урождался потом ячмень. Разливов этих, правда, никто на своей памяти не видел, как и богатого ячменя, но все равно только вздорные люди могли свою деревеньку удобства ради поставить так низко над берегом, на авось. Он вспоминал эту молву потом, чувствуя по спине озноб от близости прохладного дыхания, хотя боялся, конечно, не озера: изба, которая была ему нужна, стояла высоко на взгорке, отдельно, закрытая от деревни лесом.

8

Июльские сумерки еще не до конца сгустились. Схоронясь за упавшей елью, он увидел, как она вышла — не из избы, а из баньки напротив; стала обходить поляну, склоняясь перед деревьями. «Нате, сиротки горемычные,— услышал он бормотание,— ешьте, бедненькие, ешьте, нечистые». Он догадался,— она ставила кому-то плоски с едой,— и подал вдруг голос: «А мне?» Серое смутное пятно так и осело наземь. «Ты кто?» — «А то не догадываешься?» Голос невольно получился чужой; он сам едва умерял дрожь то ли страха, то ли восторженного предчувствия. Девка от испуга скулила, перебирала, путаясь, заклинания, он голосом успокаивал ее, но сам не решался выйти; было проще, пока она продолжала считать его неведомо кем. «Ну, догадалась? Не чуешь, как от меня несет?» — спросил он наконец и понял, что боялся именно этого. Он ведь не знал, что будет делать, вообще не знал еще, как это делается, и готов был сорваться привычной злобой, озорством недобрым; отсюда и крика бы никто не услышал. Но она ответила так простодушно — самому показалось, что он пахнет не отцовской вонью, а вроде бы цветом болотным, душным, терпким, ночным — не потому, конечно, что по дороге окунулся, одетый, в ручей и до озноба там отмокал, а потом обсыхал на ходу.

9

Она пожалела его, как жалела всякую окрестную нечисть, домашнюю и лесную. Анчутики, лешие, банники, мурмули, курдутики были для нее уродливые дети Адама, которых тот припрятал от бога по лесам да закоулкам, потому что стыдился их. С тех пор они одичали, запаршивели, обросли шерстью, но пожалеть их, пригреть, подкор-

мать — глядишь, обрусуют. Себя она считала притом простой девкой (или прикидывалась из осторожности) и каждый раз пугалась, когда он пробовал заговорить с ней о матери, о полетах под облаками. «Зачем тебе? — сказала она, когда он подступил к ней с этим очередной раз. — Будто мы и так с тобой не летаем?» Это было верно. Он потому не очень и настаивал поначалу, захваченный неведомым прежде восторгом. Его приподнимало над землей, когда он отмахивал бегом немеряные версты к ней, сокращая путь через ночной лес, чтобы к рассвету незамеченным вернуться домой. За все время ни разу ему не случилось увидеть ее при дневном свете. Но по мере того, как приходила привычка, он все нетерпеливей вспоминал главное, за чем сюда потянулся. Ему вдруг вступило в ум, что ее отговорки — бабье притворство перед юнцом, которого показалось просто обмануть. Он начал ее помучивать, сперва легонько, однако неумолимо напоминая о своем. Однажды она сказала со стоном: «Но не умею я. И не могла никогда. А теперь вовсе тяжела». Лишь по дороге домой до него дошел смысл ее слов — как обухом по лбу. Он почувствовал себя злостно обманутым, обдумывал, как с ней теперь быть, и обрадовался, когда подоспела возможность просто уехать до весны в Москву с обозом.

10

Когда он вернулся, ни о каком ребенке не было и поминана. Он был горд, что сумел распознать, не поддавшись, последнюю попытку нехитрого бабьего обмана. Теперь она готова была попробовать; она готова была собственную кровь подбавлять в варево из запретных весенних грибов. Увы, мать, видно, и вправду не передала ей главного — слов. Недоучка, она пробовала угадать их нечаянной страстью. Дрожь брала от этих напевов, от вскриков и бормотания. Рдел в камнях огонь, банька наполнялась дурным дымом, срывалась с места. Их швыряло, нагих, о невидимые склизкие стены. Но не было вокруг ни звезд, ни облаков, голоса и хохот доносились из тьмы внешней, сердце падало с высоты на ухабах, подступал тоскливый страх. С мая не было ни дождинки. Сухие молнии озаряли по ночам пустое небо. Озеро ушло в далекую лужу с потрескавшимися глинистыми берегами. Она в испуге пробовала что-то подправить новой смесью, другими словами. Тогда началось и поветрие. По деревьям под воротами

закапывали вверх копытами коров, гнивших заживо, на воротах выводили дегтем кресты, а дворы опахивали бороздой.

11

Помнил ли старичок, сидевший сейчас перед ним, гибельные знаменья лета, когда судьба так страшно столкнула их? В тот вечер убежала отцовская кобыла. Он взял уздечку и отправился искать. Небеса освещались зарницами. Он не заметил, как забрел далеко, в незнакомое место, и в легких сполохах, на гребне земли вдруг увидел вереницу женщин. Их нагие тела были тенями черного камня. Впрягшись в соху, они тянули борозду кругом невидимой отсюда деревни. Завороженный зрелищем, он не услышал тех, кто приближался к нему сзади. Не полагаясь на помощь одних языческих сил, мужики на ночь глядя устроили еще и крестный ход. Странен был им в этот час среди поля черный незнакомец с уздечкой, странен и жуток. Не стоило ему попадать им в руки. Связанный, оглушенный, избитый, он приходил в себя на деревенской околице, в прохладной пыли. Сбегались, повисали в черноте воздуха огни, лица, звуки. В голове словно журчал тихий сумеречный ручей, голоса, лай собак доходили сквозь этот шум спокойно, нестрашно. Боль была так чрезмерна, что он ее не понимал. Он видел, как сносили в кучу дрова и солому, но сознавал лишь тоску. Надломлена была звериная воля защищать свою жизнь; не было не только сил — желания шевельнуться, дернуться, подать голос; слишком долго волокли его до деревни головой по камням, потому что поднять не могли даже вшестером — изнуренные, малосильные.

12

Он не заметил, когда стал вылавливать из общего гула этот голос — тихий, будто всхлипывающий, порожденный журчанием крови; но сквозь оглушение чувствовал, что все остальное неважно. Не в силах шевельнуть головой, он ворочал отяжелевшими зрачками вслед источнику этого голоса — в свете ночных огней, затем в рассветных сумерках следил за личиком, детским, сморщенным, перевернутым вниз глазами, как следит младенец за матерью, от которой ждет помощи и спасения. И когда

покрылось все вдруг жгучей тьмой, когда какой-то знаток смертных обрядов обвязал ему, лежащему, глаза деготной тряпкой, а другой стал замазывать рот, то он задержался наконец и замычал, отплевываясь, не просто от страха, а потому что перестал видеть этого человечка. Однако голос вынырнул опять, уже совсем близко, и все прочее отодвинулось, потеряло значение.

13

Но что мог помнить усохший старичок, который смотрел теперь на Никанора с беспокойством лишь потому, что не понимал нависшего молчания? И мог ли он узнать в волосатом игумене тогдашнего обезображенного юнца? Ноздри его не ощущали даже запаха, все более густо заполнявшего сейчас келью, они не чувствовали его и тогда, хотя вокруг напоказ зажимали носы бабы, так нагишом и примчавшиеся поглазеть на упыря. Однако и не чуя, он определил все с точностью, потрясшей потом Никанора. «Говорят, несет от тебя,— сказал он лежавшему.— Не знаю, чем от тебя может нести, кроме похоти». И со словоохотливостью, пожалуй, не слишком уместной в тех обстоятельствах, пояснил, что есть три похоти: похоть телесная, чей цвет черный, похоть ума, цвет же ее белый, и похоть власти, а цвет ее красный. Соблазн полета, растолковал он, указывает, что в нем, недоросле, сошлись, как ни странно, все три похоти, они и давят его к земле, и не видать ему легкости, которая есть не что иное, как чувство покоя и счастья, покуда он не смирит их все вместе или по очереди.

14

Удивительно, с какой ясностью запомнил Никанор эти слова, хотя все прочее сознавал так смутно, что даже промелькнувшее вдруг в разговоре упоминание о женщине насторожило его не сразу. Он выдал ее без умысла. Проблуждав ночью незнакомыми полевыми дорогами, он просто не узнал еще деревни, к которой его занесло. Обрывки слов, догадки, намеки составились в связь лишь после, когда он, вынырнув из нового забвения (будто кто-то оглушил его еще раз по голове), очнулся уже при ясном свете, развязанный, без пелены на глазах, и сквозь деготную резь увидел внизу полузасохшее знакомое озеро и острог

князей Ногтевых на противоположном холме. Никого рядом не было, курица подошла клонуть с его лица навоз и отпрянула в сторону, когда он начал подниматься, пытаясь набрать в грудь воздуха, чтобы крикнуть. Таясь, он потом разыскал свежий холмик взрытой, словно кротом, земли, раскопал руками до твердого дна яму, но не нашел там никого; она сгинула бесследно, исчезла, как нежить, изба ее была сожжена. И сейчас Никанор знал, что не спросит про нее у человека, сидевшего перед ним,— человека, чьим словам, услышанным сквозь оглушенность, он следовал, как оказалось, всю жизнь, хотя сам думал когда-то, что путь, начавшийся в то утро, привел его в монастырь просто потому, что невозможно было вернуться к отцу без уздечки, не говоря уже о кобыле.

15

То был трудный путь от тяжести к легкости; все здесь давалось ему лишь исступлением подвига, и самым простым оказалось избавиться от первой похоти, черной похоти телесной. Хотя это лишь на словах говорится просто; а сколько издевался над ним дьявол, какие подсовывал искушения, как мучил, мяукал ночами, увертываясь и прячась от святой воды, которой Никанор кропил келью, покуда он не догадался настичь пакостника в последнем укрытии, у себя же под платьем, окропив промежду ног. Каких это стоило ему содроганий! Зато сразу потом Никанор не только ощутил, насколько легче стала его поступь; он впервые обнаружил в себе способность, которая, развиваясь с годами, составила его силу, загадочную для многих. Это была способность различать запахи, недоступные другим, и угадывать по ним затаенную сущность и чувства людей. Запах открылся ему как испарение этой сущности, он был чем-то, чего нельзя смыть.

16

Он узнал, что страх пахнет болотным ночным цветом, чистота — снегом, благородство — псиной, тоска — бабьим потом, а величие — гнилью и мускусом. Для него было не таким уж великим чудом, как об этом расславили впоследствии, распознать грабителей, которые проникли в монастырь под видом странников, спрятав под плащами топоры и кистени; он угадал злой умысел по козлиной

вони и, заставив смотреть себе в глаза, вогнал на три дня в сон, после чего, разоруженных, пристыженных, с поучениями прогнал прочь. Он различал на нюх двенадцать разновидностей ереси, от сладковато-приторной ереси жиждовствующих до кисло-дрожжевой — стригольников; он угадывал их прежде, чем призванный к нему на следствие успевал произнести десяток слов, и прославился в Новгороде многими разоблачениями. Знаменитый спор между иосифлянами и заволжскими старцами-нестяжателями о том, следует ли монастырям владеть землею и селами, имел для него тоже много запахов, и Никанор сразу взял сторону иосифлян — не только потому, что чутьем угадал за ними победу, но и по убеждению; здесь над всем господствовал и все объединял дух извести, каменного строительства, твердой силы; от нестяжателей же несло древесной трухой, воском и тем мшистым, пресным запахом святости, который он ощутил, наведавшись когда-то за поучением к самому Нилу Сорскому.

17

В монастыре, куда Никанор был не столько послан, сколько сослан на игуменство (ибо сумел ополчить против себя в Новгороде множество врагов), все запахи были забиты сивушной вонью. Он приводил чернецов в чувство ременной плеткой, а то и жезлом, удивляя разнузданную сволочь умением всерьез драться. Кто не желал признать его требований, принуждены были искать другое место, где можно было бездельничать, пьянствовать, льготить свое тело и ублаговотворять похоть. Оставшимся пришлось подчиниться уставу, который ввел Никанор. Он установил в обители порядок, когда все были на виду друг у друга, не имели ничего в особном владении, даже книг и икон; все приношения и дары шли в общую казну и распределялись по надобностям, а их Никанор свел до самых малых, и первый подавал в том пример. Он вкушал лишь дважды в день постную трапезу, тогда как другим дозволялась трапеза троекратная. Женщинам был запрещен даже вход в монастырь. Главное же, в чем он учил обуздывать себя как братию, так и многочисленных духовных сынов, с которыми состоял в переписке, — это были знания. Никанор пришел к убеждению, что люди, сами того не понимая, ищут лишь, кто бы указал им предел, сказал: остановись, дальше не ходи, дал ограды, перильца, подпорочки, правила на

каждый день — чем больше, тем лучше; каждое правило было затверделой ступенькой вверх из земляной, засасывающей трясины, в которой без надобности вязнет ум и надрывается душа. И он давал их, отвечал твердо и ясно на вопросы, с которыми к нему обращались.

18

Его спрашивали: можно ли хоронить покойников после заката солнца, позволительно ли плевать на правую сторону, подобает ли в говенье сидеть, заложивши нога на ногу, и как поступать тому, кто по неосторожности помочится на восток? И он отвечал, что хоронить после заката нельзя, ибо это есть венец мертвых — видеть солнце раньше погребения, что плевать направо не следует, ибо справа ангел-хранитель, дьявол же — при левом боке, туда и надобно плевать, не забывая каждый раз говорить аминь и растирать ногой; что сидеть в говенье, заложив нога на ногу, не подобает и что по неосторожности помочившийся на восток должен отбить триста поклонов. Его спрашивали: что, если человек после причастия изблует от чрезмерного употребления вина и пищи; можно ли давать причастие не имеющему жены и верно ли, что десять литургий избавляет от епитимьи на четыре месяца, двадцать литургий на восемь месяцев, а тридцать на целый год? И он отвечал, что изbleвавший от пресыщения должен каяться и поститься сорок дней; если же это случится просто от тошноты, хватит и двадцати; что давать причастие холостяку можно, лишь бы он в великий пост не сходил с чужой женой или со скотом; насчет же литургий неверно, ибо тогда богатые люди, согрешая, нанимали бы только служить для себя службы, а сами бы нимало себя не утруждали. Также и жена мужу, и муж жене не должны помогать в несении епитимьи.

19

Так он освобождал других и сам рассчитывался до конца со второй похотью — белой похотью ума, взыскующего знания чрезмерного, ненужного, и утверждал знание, даруемое как благодать, раз навсегда. Трудней всего было с последней похотью, которая еще пригнетала его к земле и не давала полной легкости, — похотью власти. Никанор сам не вполне еще постиг, в чем ее тайна. Почему-то нель-

зя было просто бросить игуменство, братию, всех людишек, которых он насильно тащил из грязи. Это значило бы уступить земляной, навозной, враждебной силе, которой он страшился и от которой рвался всю жизнь, как рвался от отцовской судьбы. Надо было преобразить хлябь, чтоб не увязнуть в ней самому. Одно время ему казалось, что освободиться от последнего бремени можно было как раз через утверждение власти, такое предельное и полное, чтобы дальше все пошло уже само собой, не требуя насилия. Но болото противилось, чавкало, наступало само, грозя разрушить даже немногие плоды трудов. Князь Оболенский, по старине считавший окрестные земли своими, являлся вдруг в монастырь с дружиной и требовал коней, доспехи, платье, утварь, все, что приносили в милостыню и на помин усопших, даже от купленного на ризы и епитрахиль жемчуга захотел доли. Брал он все задаром либо в полцены, и то в долг, а когда к нему являлись за платой, бил посланца кнутом и денег не отдавал. То бунтовались крестьяне, отказывались работать на монастырь, захватывали беззаконно земли, крали лошадей, травили хлеб, сенá косили насильно; прошлым летом сожгли пчельник со пчелами и половину ржи унесли. Никанор писал жалобы в Москву, просил управы и к каждой челобитной присовокуплял намеки на некие замыслы, которые должны были привлечь внимание юного государя; доходившие до Никанора вести о нем вызывали большие надежды. Иногда ему виделось, что, утвердив для начала в монастыре первый образец покоя, порядка и счастья, можно бы отсюда учредить власть над всей страной более полную, чем из столицы, где слишком мешали своевольные силы. Все свое знание вместе с последней тяжестью, красной, огненной, он хотел бы передать человеку, созданному для нее; а пока справлялся как мог с заботами набегавшими. Пустынь была теперь одной из них.

20

— Что ж, — сказал Никанор. — Люди праведные норыват нынче обособиться от нас, грешных. У них заботы высокоумные, а мы — как знаем. Мы злы, несчастны, слабы, дики — кто о нас, горемыках, позаботится? Кто нас, убогньких, пожалеет, избавит от томления и тревоги, оградит от соблазна, остановит перед опасностью? Не хотят нам помочь. Наши праведники ищут спасения обособленного,

чистоты без милости, блага без церкви, веры без посредников. Им дело лишь до себя. Им только бы самим поскорей корешками святости изойти.

И с удовлетворением увидел, как вздрогнул, сжался старичок от внезапного попадания. Странно было думать, что вот эти дрожащие лапки умели когда-то худо-бедно держать топор и, как ни говори, положили начало целому селению. С таких срубов и пустыней разве не начинались многие великие монастыри? Немоощный, робкий, уклончивый — за что ему дана была сила, менявшая вокруг воздух? Сила, о которой он сам, может, не подозревал, потому что не платил за нее цену. Никанор не сомневался в своей победе, он знал о ней еще до того, как вошел в келью, и теперь лишь уверился окончательно, что с пустынью надо покончить. Но была тут еще другая ревность, которая во все времена существовала между служителями духа: чье служение достойней, чья жертва угодней? По-разному же с незапамятных времен трепетали ноздри ветхозаветного Иеговы от запаха горящего тука.

— Да кто скажет, в какой стороне святость? — без усмешки продолжил игумен. — Знавал я тех, кто тянулись к земле сами, знавал и тех, кто закапывал в нее других. Но что они об этой земле ведали? И сияла ли истина там, куда они устремлялись?

Макарий наконец совладал с голосом — что-то словно замкнуло гортань.

— Есть истина полноты и истина покоя, — промолвил он чуть слышно. — Как свести их в своей душе, не разорвавшись? — сам бы хотел спросить.

21

Печь остывала, пространство над головами стариков все гуще заполнялось сиянием заиндевелой паутины. Между тесных бревен, согнув спины и сблизив головы, они, казалось, плыли в этом сиянии, среди белых бескрайних лесов, где ветви елей заслоняют звезды, но поощряют обращать взор внутрь души, — два тоскующих смущенных ума. И кто услышит слова их беседы? Сохраняется память о посольских прениях, торговых сделках и военных походах; власть заботится о запечатлении, как об оружии; но доступен ли нам голос души, бредящей об истине? И, огля-

дываясь назад, мы думаем высокомерно и скороспело, что люди, сгнившие без следа, жили понуро, как скоты, не заботясь ни о чем, кроме насыщения. Кто как. Тогда и ныне — кто как.

22

Макарий вдруг заметил, что палка в его руках перестала дрожать, и неожиданно для себя поднялся вслед за Никанором. Дверь распахнулась, впустив через порог мохнатого белого зверя. Был розовый слепящий день. Застоявшаяся лошадь скалила желтые зубы. Из монастырского санного возка, пригретый подле возницы медвежьей полостью, размашисто улыбался им Иван Беспамятный. Серое население пустыни толпилось поодаль — воробьиная стайка у клокa навозной соломы. Встрепенулись при виде Макария, ожидая лишь слова, чтобы отнять у похитителя свое. Но молча стоял старичок в дверном проеме, молча смотрел вслед саням, в которых Никанор увозил дурака Ивана как первую победную добычу начинавшейся войны. Ноги дрожали от слабости. Макарий затворил за собой дверь, подошел к оставленной на лавке книге, с трудом, как неподъемную плиту, откинул липовую доску переплета и увидел, что заплесневевшая вконец бумага вся покрыта равномерными рядами бессмысленных закорючек.

7. Агасфер

1

Не ввали слухи, не ввали, хоть толком никто не знал, откуда звон. Сидел у игумена в потайной щели между стенами некто, достойный загадочной молвы. Безумный грек и жидовин, называвший себя Агасфером, схвачен был по доносу в Новгороде. В немецких узких штанах с чулками, в низких сапожках на каблуках-копытцах, в кафтане татарского покроя и в колпаке с лисьим околом, он объявился на торгу и был известен купцам как толмач. Ничья речь, казалось, не доставляла ему затруднений: шепеляво и на всех языках одинаково нечисто он переносил из уст в уши беседы о ценах и товарах, о путях, морских разбойниках

и войнах, о золоте и райских птицах, что привозили из новых земель испанские галеоны, о городах сплошь из камня, о кизильбашских садах и о степях, где на горе стоит золотая старуха с сыном в утробе, а у того в утробе еще болван — ее внук, и от дуновенья ветров все трое тянут вечную песню, наводящую гибельный сон на тех, кто ее слышит. И никому не было заботы о том, что перевод порой звучал дольше самих речей, словно толмач изрядно добавлял от себя, и добавлял складно.

2

Донос написал подьячий Якуня Рыков, случайно подслушавший в гостинном дворе из-за стены разговор толмача с русским собеседником, сыскать которого потом так и не удалось. Дело было вечером, Якуня ел беззубыми деснами тюрю с квасом и дважды подносил ко рту пустую ложку, а потом и вовсе забыл про еду. Половины услышанного он, впрочем, не понял, да и другую половину, как выяснилось, переврал, но и понятого оказалось достаточно, чтобы хребту стало щекотно. Поди не перепугайся, когда при тебе хвалят магометан, а православию предрекают конец, столь же неизбежный, как и падение Цареграда, о котором толмач, кстати, поминал так, будто сам при нем присутствовал. Повторить такое на бумаге и то было зябко. К тому же пришлось оправдываться, что не побежал к городовому приказчику сразу, побоявшись на ночь глядя воров: ходить нельзя стало затемно по Новгороду — зарежут! И уж совсем перепугавшись, не наговорил ли сам лишнего, Якуня надписал на свернутом листе: «Не распечатывать и не читать: безумного речи», — имея в виду, конечно, не себя, но косвенно как бы умаляя до извинительного ничтожества и собственный разум. Оказаться с такими речами через стенку была судьба, с ней не поделаешь ничего, как с пожаром или чумой. Не смолой же было забить уши! Раз человек так создан, что не подслушать — превыше его сил, а не донести потом — страшно: вдруг испытывали тебя с умыслом? Учены были в Новгороде московской властью. А донос, глядишь, заставят подтверждать под пыткой и придется своим языком повторять щекотные слова, а перепадет ли за все муки хоть какая корысть с иноземца — вилами на воде писано. Тоска! Тоска и обреченность, и не денешься никуда.

На его счастье, толмач, не сумевший предъявить ничьей защитной грамоты и даже путно объяснить, из каких он земель, от показанных слов не отпирался, только с брюзгливой безгубой улыбкой поправил их, наговорив при этом по собственной охоте такого, что и пытка оказалась ни к чему. Разговор шел, пояснил он, о судьбах великих стран и народов. Собеседник, которого толмач, видно, и вправду не мог указать по имени, сокрушался, что сами по себе люди хотят больше всего безопасности, довольства и покоя. Что же до народов, то, отказавшись от жертв и страданий, затихнув, подобно счастливому, извергшему семя человеку, они становятся неизбежно добычей других, грубых, страстных, безжалостных. Так пала пресыщенная истиной христианская Византия от турок-магометан, доказавших, что у них больше прав на будущее. Пренебречь сытым покоем, самой жизнью — своей и чужой — способны среди людей лишь немногие, и спасение народа, если у него окажется вождь, который вдохновит, поведет, потащит его к цели, неважно, ложной ли, истинной, не щадя ни чужих, ни своих. Ибо пока не ослабнет этот порыв, народ избегает смерти. Только жертвами, презрением к жизни, великим напряжением страсти созидаются великие державы, оставляющие после себя великую память, великие творения духа; оценят же их сполна лишь благополучные потомки. Так говорил собеседник. На что он, толмач, отвечал сомнением: для будущего ли живут люди и народы и окупаются ли величием потомков сегодняшняя кровь? Тем более что любые державы так же смертны, как человек: что осталось великого от Чингисхана или Тамерлана? Куда более нетленными оказываются сокровища духа, созданные в каком-нибудь маленьком итальянском городке. Что же до падения Цареграда, сиречь Константинополя, сиречь Византии, то он, толмач, действительно освободился при этом событии из земляной ямы, но петь хвалу магометанам вовсе не думал, потому что радости ему от этого не прибавилось. Словом, сам земский дьяк усомнился, записывать ли это; тут проглядывала скорей ересь, нежели государево дело, и для дальнейшего дознания толмач передан Никанору, стараниями которого незадолго перед тем провезли по улицам местных развратителей умов: на кобылах к хвостам лицами, в вывороченных овчинах и позорных колпаках из бересты с мочалом.

Что стало с ним потом, никто не знал, да и некому оказалось помнить о неведомом, ничейном чужаке — уморенном ли в тюрьме, задушенном ли в дыму, спущенном ли в прорубь. На самом деле Никанор тайно держал его при себе и с собой же вывез на новое игуменство: в сундуке с дырками, просверленными для дыхания, по трудному санному пути, где узник его наверняка бы задохнулся или несколько раз сломал себе шею, когда переворачивался возок, или утонул бы, когда на Шексне под лошадь провалился лед, — если бы в своем безумии или ереси (или в том и другом заодно) не был убежден, что обречен на бессмертие. Его обыкновение говорить усталым и как бы усмешливым — брюзгливым голосом очевидца не только о любой стране, где могли жить люди, но и о событиях древних, записанных в книги, свидетелем которых он по смертной своей природе заведомо не мог быть, смущало порой даже искушенный ум Никанора. Бессильным оказывалось чутье: кто бы ни был этот сухощавый странник с выцветшими зрачками и гнойными веками без ресниц — ветры и дожди поработали над ним так основательно, что пахло от него лишь выдохшейся скукой веков.

У него был беззубый впалый рот, когда-то, наверно, толстогубый и чувственный, борода блекло-серая, жидкая, но отросшая в заточении; для удобства он ее заплетал в косицы. Татарский кафтан, как, впрочем, и немецкие штаны, обветшал и местами истлел, но толмач мог греться от игуменской печи, строенной не по-русски, так что она составляла одну из стен каменной щели. На лавке имелась шкура, в ней еще можно было узнать медвежью. Цепь, заговоренная на всякий случай, а так даже и необязательная, хоть и стерла щиколотку до мяса, но успела стать для него привычной, почти незаметной. В замкнутых стенах без окон проще скрадывалось время, лишенных дня и ночи. Он умел надолго впадать в сонное забытие, пропуская в одиночестве месяцы и целые годы. Особенно полезным оказывалось это свойство, когда его начинали мучить; он обмирал до полного бесчувствия и, случалось, забывшись в одной тюрьме, куда его упрятали за провоз колдовской смолы-мумей, просыпался в другой, где его

обвиняли в убийстве купца, торговавшего этой смолой, то есть самого же себя, — но не замечал перемещения.

6

Вот к этому человеку в соседи сунул игумен Ивана Беспамятного — просто не придумав более, что с ним делать. После первой же пробы стало слишком очевидно, что для писцовой работы дурак непригоден. Когда он, высунув язык, принялся выводить на бумаге свои закорючки, Никанор поначалу разгневался и заподозрил насмешку. Но улыбка дурака была простодушна, написанное он смог прочесть без запинки, с любого места: чудо, не чудо, а было в нем что-то смущавшее. Никанор подумал, что нельзя ему дать уйти обратно к пустынною. Сам толмач принял соседа без удивления. Короткого разговора было достаточно, чтобы Иван показался ему понятен, как сама эта зябкая страна, столько раз выжженная и вытопанная, накапливающая каждый раз заново поврежденную память. Он многое об этой стране мог бы сказать наперед так же ясно, как то, что этот человек, объявленный дураком по недоразумению, рано ли поздно убежит из тюрьмы, от тепла, от сытости, от покоя — к голоду, холоду и неизвестности, что собственная цепь его, увы, истлеет, раствор, которым она вмурована в стену, обратится в труху (и уже обращался), а когда сами камни разлетятся по воздуху, ему придется брести дальше.

7

Все времена были слиты для него в вечный и неизменный день, через который текли поколения, — с востока, где оставался утраченный рай, уже столь далекий, что не найти было к нему дороги, на запад, где толмач прежде срока побывал, но вернулся, не найдя ничего утешительного. Узоры пены переливались среди камней, роились насекомые тучи, куда-то двигались, сталкивались с другими, внутри каждой копошилась своя жизнь с зачатьями, рождениями и смертями, с соперничеством и поисками, любовью, добротой и злодействами; но только оттуда, изнутри, нельзя было вообразить ее начала и конца, как нельзя вообразить собственного рождения и смерти. Все это было так похоже из века в век, что в бездонной, но усталой памяти толмача что-то порой сбивалось, интрига, начатая

при дворе индийского падишаха, выливалась в разорение Рима всадниками, пахнувшими кислой кожей и конским потом, а предсказания сирийского звездочета обрекали на бесславие франкских крестоносцев.

8

Ему нравилось, что Иван смеялся, слушая про историю человечества. Иногда он сам вторил его бульканью скрипучим сухим смехом — но потом осекался; ему приходило в голову, не над собой ли он смеется: среди вековой скуки и однообразия, быть может, бессмысленней всего была способность человека вспоминать, как радость, вкусный хлеб, преломленный когда-то у огня, дыхание собаки, смену исподней рубахи, хмельное питье, развязывавшее язык, — всякий простенький соблазн, возобновляющий вопреки всему веру, что жить лучше, нежели не жить. Наслаждением было даже сейчас снять с ног немецкую тесную кожу и дать прохладу отдыха громадным, твердым, расплюснутым о дорогу ступням вечного пешехода. Можно было радоваться голосам, хорошо слышным из игуменской кельи, если приложить ухо к стене, даже приходу нынешнего тюремщика, когда в черноте прорезывалась светящаяся щель, становилась шире, появлялась рука, прикрывавшая пламя свечи от движения воздуха, и пальцы ее были красноваты на просвет. Лицо игумена освещалось снизу и казалось более волосатым, чем было на самом деле; остальная голова, закрытая черным куколем, и все черное тело сливались со тьмой. Его появлением можно было восхищаться каждый раз, как зрелищем. А когда он уходил, оставив недогоревшую свечу в подарок, можно было разложить перед собой припрятанный лоскут бухарского шелка в красно-зеленых узорах и устроить праздник глазам, соскучившимся и побелевшим от долгой темноты, как проросток в погребу.

9

Игумен заходил сюда поговорить, послушать рассказы. Некоторые истории он выспрашивал не один раз, как будто надеялся в новом изложении услышать лишнюю подробность. Например, про немецкого астролога и мага, с которым толмач встречался в Венеции. Это был некий Фауст с черной бородой и темным лицом меланхолика, страдающе-

го селезенкой. Ни для кого не составляло секрета, каким обменом он получил свои способности и знания, превосходящие человеческие. В Венеции Фауст пытался на самодельных крыльях взлететь с башни в небо, но жестоко разбился. Остальное толмач знал понаслышке и, сколько ни повторял рассказ, не мог обогатить возбужденный интерес игумена, однако каждый раз заново радовал его подробностями об ужасном конце смельчака, о страшных воплях из его комнаты, где стены наутро оказались обрызганы мозгом, а по углам валялись разбросанные остатки тела, недостаточные для полного человека. Вот так-то, удовлетворенно постукивал палкой оземь Никанор, не поясняя своей мысли, а толмач кривил рот в понимающей безгубой усмешке. Вообще все его рассказы как будто лишь подтверждали и без того ясное убеждение игумена. «Да, это не про нас, — то и дело усмеялся тот в бороду. — Мы-то устроим иначе». Но когда толмач спрашивал как, Никанор лишь многозначительно поднимал бровь, давая понять, что узнает в свое время и что ждать не так уж долго, как можно бы подумать.

8. Разговор

1

Объезжая очередной раз монастыри, завернул наконец к Никанору царь Иван — не совсем, впрочем, по доброй охоте. Его не ввели — почти внесли в игуменскую келью, обвисшего на плечах слуг, стучащего зубами от озноба, сняли три шубы, надетых одна поверх другой, застелили ими лавку с дощатым изголовьем и уложили. Раздеться дальше Иван не пожелал, удалил всех и остался с игуменом. Никанор смотрел с внезапно прихлынувшей, почти отцовской нежностью на этого широкогрудого, рослого, в расцвете сил человека, долгожданного, предугаданного, ослабленного недугом, который был понятен и прост для игумена. Сквозь знакомый болотистый запах страха он явственно ощущал другой, заставивший голос вздрогнуть от волнения сбывшегося предчувствия. Так пахнет матка в пчелиной колоде, белая, раздутая, созданная для власти, которая дана обладателям этого запаха от рождения, вне разума и закона. За этим гниловатым и терпким, щиплющим ноздри душком рой устремится куда угодно — в не-

волю, на погибель; но немногие даже из сидящих на престоле отмечены им, а те, кто отмечен, не всегда сознают полную его цену.

2

Накануне Иван разбился, его сбросил конь, вдруг вздыбившийся на бегу словно перед невидимым препятствием. Сам ушиб прошел бесследно, если не считать синяка на бедре. Никанор до объяснения понял, что недуг, обессиливший государя, был не телесный, но духовный; он изумил Ивана, угадав даже видение, перед которым отпрянул конь: огненные языки, вспыхнувшие вдруг из-под земли, их не увидел никто, кроме всадника. Игумен возложил ему ладонь на обнаженное, в кабаньей рыжей шерстке темя, успокаивая, как умел успокаивать исступленных женщин. Между тем сам он волновался все более: перед ним действительно был тот, кто уже в семнадцать лет оказался способен самовластно взять себе царский титул взамен великокняжеского; что до нездешних видений, которые удручали и сбивали Ивана с толку, то порождены они были его же собственной богоданной силой — вот с нею надо было еще совладать. Никанор велел государю стать на колени, сам опустился рядом. Теплилась перед иконой лампада. От волосатого священнослужителя исходила уверенность, действовавшая сильнее слов, которых Иван пока не совсем еще понимал, — за нею чувствовалось некое знание. Слабость и страх отпускали, становилось легко, к глазам подступали умильные слезы. Хотелось молиться все сладостней, все истовей, отдаться на волю хлынувшему потоку. Он приложился в поклоне так, что рассадил на лбу кожу, и почувствовал, что созрел для самого лучшего, томительного разговора — о желании постричься в монахи.

3

Но нет, удивлял игумен Ивана, все более удивлял. Песню о пострижении Иван заводил едва ли не в каждом монастыре — умиляясь себе сам, распаляясь, заражаясь все больше убедительностью собственных слов. Тут была своя последовательность и разгон, своя особая сладость. Он обзывал себя словами, все более непотребными, как хлещутся до изнеможения распаренным веником, и уже начинал сам верить, как это было бы хорошо: уйти от

скверны, крови, блуда, уйти от убийств, от ненависти, от бояр, которые вот-вот не отравят, так всадят нож в горло, бросить все и жить, питаясь одной клюквой, промывая душу покаянием и молитвой. Нет, хорошо! Право же, хорошо! Какой-то наблюдатель в нем все это время смотрел с высоты на говорящего и тоже получал удовольствие. И всегда в ответ с тем же умилением, но и с испугом, с каким матери кидаются вразумлять благочестивое простодушное дитя, его убеждали повременить, пока не подрастут сыновья, не бросать народ и страну, не лишать его защиты своей. Повздыхав и пожалев себя, приходилось смириться, признать, что благочестивым замыслам еще видно и впрямь не время в этой греховной юдоли; зато чувствовал себя убогоблагоденным и размякшим, как после удачной баньки. И вдруг Иван впервые услышал в ответ уверенное поощрение: конечно, уходи. Уходи, обособься, подобно монаху, спрячься от врагов за крепкими стенами, но не от власти, а ради нее. Чтобы встать над своей землей так, как никто не стоял, надо отгородиться от обыденных счетов — их оставить другим. Иван даже насторожился, и первое его чувство было чувство обиды, понятное для человека, которого хоть из вежливости не сочли нужным поговоривать.

4

Когда Никанор завел речь об испарениях сущности, Иван сообразил наконец, что перед ним безумный. Но тут же игумен помянул про необходимость укрепить монастырские стены и ускорить каменное строительство; тогда Иван попробовал найти скрытую подоплеку за этими премудростями и перевести их на понятный язык искательства. Как бы между прочим он вставил словцо о дряхлости митрополита и что надо искать помощника, а попы на Москве о государевом деле не думают. Никанор будто не услышал намека, зато стал объяснять, почему нужно будет захватить с собой в обитель святыни, главные иконы и, конечно, казну, — на всем этом тоже почует благодать власти. Разговор напрягался в каком-то лихорадочном, непонятном иступлении, словно они уже заражались один от другого. Слишком много надо было игумену объяснить, высказать того, что успел передумать и постичь сам о сущности власти, что открылось ему в разговорах с безумным толмачом, который в безверии своим не догадывался об

одном: уже присмотрена была богом страна, способная избежать общей судьбы, прекратить метания и порывы, воплотить окончательно простой и высокий замысел; тут будут тоже страдания и жертвы — зато уж в последний раз. Иван попробовал хоть выяснить, считает ли игумен за лучшее воевать с татарами или же с немцами. Никанор опять отмахнулся: все равно; война, законы, торговля — для власти лишь средства, но цель — высшее единение людей, все томления которых возьмет на себя один, созданный для этого. Куда ни расширяй земли, главное — неотступно укреплять жизненную почву, установлениями ли, страхом; так обращают навоз в чистый кристалл, так укрощают огонь, направляя его в жерло, и пока будет длиться эта работа, можно не жалеть крови; господь ее спишет, за это игумен ручался. Зато уж потом — не будет метаний, раздоров, особых забот, не будет душевной смуты и тяжести, ибо не останется многих волей, все сольются в одну, и она совпадет с твоей, государь.

5

Тень, как полотнище на живом ветру, колыхалась во всю стену. Жарко светилось шитье на рукавах и груди, лицо, озаренное из печи огнем, рдело, как раскаленное. На лбу Ивана чернел, отблескивая, кровоподтек, глубокий вырез ноздрей был воспаленно-красен на просвет, выпуклые крупные ногти на пальцах обкусаны и заострены посерединке, точно у зверя. Облитой пламенем языческий идол с кровавым пятном на лбу сидел на корточках у печи, огоньки плясали в выпуклых влажных глазах. Под негустой рыжеватой бородкой ходила, как у ящерицы, кожа. Никанор высился за его спиной недвижно в черной, литой тяжести, рясе. Слова его трепетали среди теней и отсветов, точно порожденные общей с огнем стихией. В картинах, которые он рисовал, что-то было от мстительных детских видений, когда растравляешь себя подробностями своего гнева, ухода, и как придут тебя просить вернуться, а ты их помучаешь. Но всегда мешало сомнение: а вдруг не придут? Вдохновенных слов не хватало Ивану, пусть непонятных, но тем более внушительных: о смраде и благодати, и что безвластия люди боятся, как боятся неизвестности и темноты, они предпочтут ей зримый страх, потому что иначе перебьют друг друга и знают это. Надо было что-то ответить. Иван медленно распрямил затекшие ноги и, глянув

на игумена, вдруг сказал, что проголодался. Это вышло неожиданно для него самого, но не сказал ли и Соломон: как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей — неисследимо.

6

Стол в трапезной был большой, скобленный, без скатерти, еды нанесли обильно. Подали пшеничный мягкий хлеб, сига бочешного под хреном, грибов, каши на ухе, а также всяких пирогов: долгих с вязигою и яйцами, круглых со щучьими телесами, косых с сыром. Иван сам пожелал прочесть молитву, но, вместо того чтобы по обычаю дать начало трапезе, стал вдруг рассказывать, как ехал однажды в Кириллов монастырь, да опоздал к ужину, потому что летом в тех краях не отличишь дня от ночи, и как тамошний келарь Исаяя Немой ни за что не хотел его кормить в неурочный час. «Государя, — говорит, — боюсь, а бога надо бояться больше». Дал поесть кое-как, монахи из-под рук убирали да в погреб отсылали... Все внимали царю молча, с вытянутыми лицами, пытаясь понять, к чему он клонит. Один лишь князь Юрий, слабоумный братец, которого Иван возил с собой на все охоты и в монастырские объезды, приступил к еде, никого не дожидаясь. Сидя по правую руку от Ивана, он набирал в рот каши и выдувал пузыри. Юрий слыл глухонемым, но в подпитии умел прокрякать дурным голосом несколько непотребных слов по-русски, литовски, польски и по-татарски. Иван велел подлить ему вина послаще — Юрий был сладкоежка — и заговорил учительным голосом о посте и воздержании.

7

— Пить вино, — рассуждал он, поднимая перст, — значит подливать масло в огонь наших пороков, а чревоугодие — худший из них. Почему был низвергнут из рая первый человек? Потому что служил более чреву, нежели господу. Сказано: пища для чрева, а чрево для пищи, но бог уничтожит то и другое. И как изгнаны мы из рая невоздержанием, так должны вернуться туда постничеством. Что отворяет райские врата? — спросил далее Иван и даже подождал некоторое время, как бы предлагая ответить монахам. Но не дождался и ответил сам с некоторой укоризной, потому что загадка была проста: — Милостыня.

Милостыня их отворяет. Но что к сим вратам приводит? Пост, — объяснил он, на этот раз даже не тратя времени на выжидание.

— Таву мутеру пся крев! — крикнул князь Юрий и засмеялся, пуская пузыри. Перед ним колыхался на блюде бурый кисель — от берегов молочной реки.

Монахи у противоположного конца стола подались друг к другу. Иван проследил за ними бешеным зрачком и наконец взялся за свою чашу. Ему было без причины забавно встречать напряженный взгляд игумена. Этот одержимый уже не вызывал у него даже особого любопытства. Сколько их по монастырям, по медвежьим углам — знающих, как спасти род людской, возвысить страну и укрепить царство. Впрочем, послушать его оказалось небесполезно. Но такие от мыслей своих не отказываются, Иван это знал и для памяти отметил, что надо его не упускать из виду.

8

А Никанор смотрел на царя, все более мрачней. Он слышал откровенную издевку в этих постнических речах за обильным столом, видел, как жадно ест Иван, погружая в блюдо пальцы: так едят люди, которые обилием надеются превозмочь неспособность наслаждаться, — и холодел от мысли: неужто искушенное чутье так опасно подвело его на сей раз? Не спутал ли он слишком желанный дух величия с простой гнилью больного нутра, от которой червивели и прели куски, едва донесенные Иваном до рта, а фряжское вино мутнело и кисло? Действительно, Иван вдруг спросил игумена, не найдется ли у него вина горячее; Никанор только шевельнул бровью — появилось горячее; Иван отметил, как вышколены здешние монахи, бессловесные и бесстрастные. Он понюхал чашу, убедился, что в ней настоящая водка, и полюбопытствовал, не зазорно ли в монастыре держать вино, даже сладкое. Игумен пояснил, нахмурясь, что это приношения благочестивых людей, и держат их не для себя, а для гостей мирских, особых. Он вдруг устал, как после безумного приступа, и радовался, что не все успел выговорить. Обманул, обманул его своей мнимой слабостью этот человек, показавшийся было таким понятным; страшно было предполагать дальнейшие пути его мысли. Но прежде чем окончательно затяжелеть, успел Иван тут же, за столом, распорядиться об укреплении

монастырских стен и каменном строительстве. Он разрешил обитатели расчищать лес во все стороны на двенадцать верст, займища распахивать и людей призывать.

9. Пожар

1

Келья Макария загорелась перед рассветом, обагрив стволы сосен. В лесном безветрии высоко взметнулись языки мха, став огненными языками. Сруб превратился сразу в косматую яркую копну, однако горел долго. На прозрачных гребнях взлетали вместе с искрами бумажные листы, рассыпались багровыми вскриками, но тут же с хрипом чернели, съеживались в пепел, и клочья его улетали во тьму. Светились красные бороды, зубы рдели, как угольки. Еще таскали от ручья бадейки с водой, плескали издалека в пасть косматому чудищу, а оно отфыркивалось клубами пара, будто ему лишь подбавляли пищу. Казалось, тут и не тушат ничего, а исполняют обрядовый древний танец — сродни теням, что изгалялись за спинами людей сами по себе, пропадали и тут же рождались заново, металась по красным стволам и, подобравшись к пяткам, дергали за ноги, заставляя двигаться. Горлу было кисло от привкуса гари, и тяжело касался ноздрей запах опаленных волос.

2

Всех старательней суетился толстозадый Лука, распорядился, покрикивал: «Эх, ребяташки! Заливай, ребяташки!» Однако голос его, вначале слезный, истовый, становился как бы все задумчивей; сам он ничего не тушил, смотрел только, чтоб не перекинулось дальше. Раздутый, в рясе поверх заячьей шубы, Лука на глазах начинал худеть, опадать. Всю жизнь он искал, при ком бы пристроиться, от чьих соков пропитаться, и то и дело приходилось начинать заново. Мальчонкой он стал поводырем у слепца, которого хотел обворовать, но вместо этого сам надолго попал в кабалу к чуткому, всевидящему и хитрому нищему, который, ложась спать, привязывал его за шею веревкой. В зрелые годы Лука сумел было разбогатеть, найдя среди поля чудотворную икону богородицы; с этой иконой

он полтора года ходил по селеньям, рассказывая о чудесах и собирая на устройство часовни, — так нет, ограбили по дороге, отняли икону и деньги да самого отделали так, что спину не мог разогнуть. Прибился было к монастырю, к беспечальному пьяному житью — принесло нового игумена. Хорошо, что еще прежде он успел выследить в лесу Макарьеву келью и понял возможности чудесного мха. Теперь и этому наступал конец — Лука ускорил его своими руками. Земля, на которой стояла пустынь, по царскому указу отходила к монастырю, предстояла новая служба (если не обманет игумен, наградит за услугу). А что делать? Только прислониться, приспособиться к новой силе, ибо сам по себе человек — никто.

3

Не один Лука, все думали сейчас о том же. Хотя пустынь оставалась нетронутой, без кельи она была обречена. Самым незаметным и безучастным из всех казался Макарий. Он весь пожар простоял от огня поодаль, уже готовый в дорогу, точно так и ждал в келье. Не по росту большая сума, какие носят калики-слепцы, не была отягощена ничем, ручонка без рукавицы вцепилась в сухой посошок навечно — не вынешь. И те, кто утирал сейчас слезы, провожая его, плакали не столько о нем, сколько об утраченной опоре жизни; ему — что? уже, считай, готово было ему житие, где лучше, нежели в сгоревшей, никем не читанной книге, вспомнят и опишут все благочестивые его дела и мысли, до самого конца, когда, не успев дошептать последнего завещания, обратится старик в ольховый куст с серебристыми, в смертной испарине, листьями... Ночь незаметно разбавлялась белесью. Огонь преобразался: на свету у него оказалось плотное рыжее тело в оболочке из невидимого жара. Те, кто пытались приблизиться, удивленно упирались в нее, и их упруго отбрасывало назад. Движения становились все медленней, необязательней. Теперь плясало одно пламя — последнюю свою пляску, понемногу оседая вместе с кельей в протаявшую яму. Наконец кровля рухнула, огонь взвился, придавленный, взметнулся напоследок особенно высоко. Рванулись пламенные перья, опали в судороге. Огонь становился воздухом, воздух обрастал в воду, вода в землю. Вокруг далеко протаял до почвы снег, в восходящих лучах зазеленела на мгновение трава, проглянули цветы — но тут же побе-

лели, и бесплодные семена их сдуло горячим ветром на удобренную пеплом землю. Стихло все, и увядшую вновь траву припорашивало снежком.

4

Макарий уходил, по пояс углубленный в узкую втопанную тропу; морозные иголки играли в косом, сквозь стволы, свете. Он мог бы пройти по насту и без дороги — таким казался легоньким, невесомым. Когда все потянулись от пепелища проводить старика, из-за деревьев вышел Иван Беспамятный, долговязый, в сером подряснике, в сползающей на лоб шапке с лисьим околком. Он присел на корточки возле углей. Большой рот его подрагивал в неуверенной улыбке. Край обгорелой доски с оплавленной застежкой виднелся среди молочно-сизых дымков. Хлопья пепла еще хранили очертания бумажных листов и даже следы черных значков на черном. Иван попробовал взять один — тот рассыпался у него в пальцах, но дурак не ощутил потери, ибо одинаково мог читать и по белым листам и по пеплу: эта горсточка была о цветке боранце. Беспамятный осторожно высыпал письма через пальцы. Еще один черный клочок, движимый дуновением, медленно полз среди головешек; Иван попытался его остановить и увидел, что это был крупный червь в черной радужной шерстке. Он замер, наткнувшись на пальцы, поднял переднюю часть туловища. На своей памяти слишком мало видел беглец, чтобы изумиться ему — хотя бы величине его. У червя были блестящие, выпуклые, в круглых белых обводах глазки; уставленные на человека, они казались осмысленными. Дурак взял его в руку: он свернулся на ладони в кольцо, спрятав умную головку. Это было движение самозащиты — но и готовности выжидать сколько понадобится. Беспамятный снял шапку, зачем-то осторожно засунул червя в прореху сукна и надел колпак на голову. Потом заспешил, хоронясь за деревьями от встречных, по дороге, которой ушел Макарий.

10. Молва

1

С юга веет в лицо ветер. От бугров и холмов ползет во все стороны чернота, снег облупливается с земли. Светлые капли стынут на прутьях веток вербными барашками. Ве-

тер несет с собой влагу воспоминаний, утерянных где-то там, среди полой воды, разметавшейся без берегов, забывшей направление и смысл. Она смывает пашни и затопляет избы, чтобы потом частью всосаться в землю, частью загнить в бочажках и испариться на солнце, а остатком вернуться в тяглое русло. В ее безбрежности есть соблазнительная красота, родственная душам живущих здесь, среди равнин и лесов, где селенья рождаются и умирают, не видя одно другого, где звук топора доносится до слуха, когда дерево давно упало, где в порах непроглядной страны пузырится жизнь затаенная, невнятная, темная для тех, кто считает себя властным над ней.

2

В этой жизни всего полней и счастливее были годы, когда не происходило ничего достойного внимания летописцев: ни войн, ни мора, ни засухи, ни замечательных убийств, ни безумных движений народов, когда монах, поставив киноварью число от сотворения мира, с зевотой выводил против него простыми чернилами: «Была тишина» — а больше не знал, что добавить, и от скуки присовокуплял иногда хоть про теленка, родившегося о двух головах. Здесь на глубине всегда шла своя летопись, где годы лишены значения и время не движется вперед, а возвращается по кругу, лишь меняя свойства: рождения и смерти, посевы и жатва, недороды и урожай, праздники и пожары. Здесь справляют свадьбы, слагают песни, любят невест и детей, и готовы бы жить в забвении, если б оставили их в покое внешние силы. Но почему-то этого нельзя — всегда разыщут тебя, настигнут, взнуздают.

3

Ветер несет к гнездам птиц из краев сухих и каменистых, колышет на прозрачных, как дыхание, волнах ошалелого жаворонка, опускает на парную пашню юных грачей с еще не отбеленными о землю клювами. Он нанизывает на ландышевые травинки белые капли и волнует в почках листы. Ветер несет жар от степей и гор, от городов из камня и глины: там жизнь имеет иной накал и иную жесткость, там взору открыт многозначный ход светил, и воздух звучит незнакомо. Ветер сушит дороги, обращает в камень весеннюю грязь, чтобы она потом рассыпалась в

пыль под копытами и лаптями. Облака ее висят над дорогой, храня очертания промелькнувших за день тел. Здесь, по нитяным изгибистым жилкам между селениями, бьется державная жизнь, здесь ковыляет, как умеет, история, о которой по своей воле и знать бы не знали за лесами, за бездорожьем.

4

Едва очнулись от распутицы люди, а уже от Москвы расползлись во все стороны рассыльные — напомнить отощавшим, оглохшим, нечесаным, что не живет никто сам по себе — отнюдь. Свернутая в трубку бумага с сургучным подвеском на шнуре называлась недаром *память*. А что в памяти? Хорошее — вряд ли. Хорошее не приходит со стороны, по дорогам. Приходят татары и моровое поветрие, повинности, постой и подати, царская служба и ратные полки, неотвратимые как саранча. Люди выросли и умирали, от рождения не помня без войны года, но немногие могли бы сказать здраво, с кем война и за что. Это в маленьком племени всякая война ясна, как драка или набег за добром. Но слишком разрослась страна, и пока еще дойдут толки: о споре ли царя Ивана с немцами насчет христианской веры, об обидной ли насмешке императора или о том, как кто-то у кого-то пытался похитить жену, но Иван ли у нехристей, нехристи ли у Ивана — мнения были разные. Сколько проходило или проезжало по дороге людей: слепцы, скоморохи с медведем, купцы с обозом — столько было толков, и поди разберись в них. Разве от давних только времен достается нам сказка? Что творится за лесом, за недалней горой — уже молва, уже легенда.

5

Доходило из Москвы новое непривычное слово — «опричина», а что это такое, вразумительно еще никто не мог объяснить. Говорили, будто государь надумал поделить свою землю, разодрал ее наполю и себе оставил меньшую, эту самую опричину. А что собирается сделать с другой? Кого ни спросишь, наговорят такого — усомнишься, верить ли. Появились на дорогах переселенцы, и не мужики. Новгородские помещики тащатся под Казань, навстречу в Новгород едут москвичи. Зачем? — спроси их. Сами не знают, да и спрашивать оказывалось опасно, по-

давать им, и то было не велено. Значит, опала? Но за что? Одни полагали, что царь Иван сам захотел прибрать к рукам многие вотчины, князей же сделать простыми помещиками. Другие додумывались своим умом: просто не любила власть в Москве, когда люди слишком засиживались на одном месте, когда нарастала между ними связь; оборвать ее было безопаснее. И вот сцепились осями встречные телеги среди дороги, повисла в пыли брань, кричат возницы, хлещут кнутами, целясь отнюдь не в лошадей. Казалось бы, просторно кругом, так нет: непременно сведет, сдвинет тесно, и мычат коровы, привязанные к задкам телег, и охают на сундуках бабы, и держатся за животы, боясь разродиться в пути.

6

Больше всех сеяли сомнений те, кто якобы сами стояли у Кремля на площади, сами слышали, как царь держал с Лобного места речь к народу, сами видели, как текли и замерзали на его щеках слезы, когда он прощался с митрополитом и боярами, с дворянами и дьяками, со столичными гостями, и сами насчитали в царском поезде четыре сотни саней, тяжело груженных казной да церковными сокровищами. Говорили, что этот поезд, охраняемый пятью тысячами отборных стрельцов, скитался кругом Москвы шесть недель. А почему? То ли запутывал следы, то ли искал пристанища. Так что никто будто и не знал наверняка, где укрылся государь от измены. Говорили, будто бы в Александровой слободе. Но мало ли что скажут для отвода глаз. Видно, было от кого бежать Ивану, было от кого прятаться. «Царицу-то уже отравили». — «Это которую? Первая — так вроде давно умерла, а вторая — татарка». — «Ну и что?» — «А то, что она сама хотела царя извести. Уже сговорилась со своими. Хан под самую Рязань подошел — тут царь и узнал измену...» Так толковали, встречаясь у дороги, и хоть не всему можно было верить, но сходились на том, что с татарками лучше не связываться, будь они хоть и царских кровей. Тут со своей русской попробуй совладать, чего уж — с татарками!

7

Говорили, что Иван решил перебить бояр, а холопов возвысить. Рассказывали, как он в Москве на площади спас от правежа мужицкого сына, да велел боярам уплатить

ему за обиду полтораста рублей золотом, да взял к себе в опричное войско. Это бы, конечно, завлекательно — пустить боярам кровь; но летели не одни боярские головы, и люди, ученые жизнью, говорили заранее: опричнина не опричнина, а лучше не будет, не жди. Почему? Да не бывало никогда перемен к лучшему. И многие невесело вздыхали: какая ни льется кровь — все человеческая. Рассказывали еще, будто велел Иван поставить на Москве храм красоты невиданной, а мастера ослепил, чтобы не выдал никому тайны. Потому что из храма подземный ход вел в уединенную башню без окон, в ней царь каждый день запирался для размышлений, как осчастливить народ православный и как покарать зло. Кто крал, обманывал, грабил, насильничал, обижал простых людей — всех сажал на кол, но прежде всего тех, кто, предвидя расплату, мечтал его погубить; и самым знатным была уготована у него особая честь — кол позолоченный. Говорили, будто возле одного источника с родниковой прозрачной водой поставил Иван золотую чашу красоты дивной. Каждый пил из нее и ставил на место, но никто не посмел украсть — так благотворен был страх, внушенный грозным государем. «Ну, это не про наши времена, — сомневались другие. — Это про золотое время. У нас сколько ни казни — все будут воровать».

8

Едут в столицу по дороге купцы, чтобы проверить слухи и своими глазами в самом деле увидеть храм красоты небывалой, но убедиться, что торговлишка идет как прежде. Чуть-чуть движется под небесами обоз с придержанным до урожая хлебушком, колеса крутятся на месте в клубах поднятой пыли, и на месте перебирают ногами лошади, поднимая по очереди хвосты. Куда спешить, если с каждым шагом тяжелеет, набухает дороговизной зерно? Позванивают колокольцы, остывают в более парные яблоки, зависает над дорогой запах дегтя, запах кислого конского пота и сбруи, запах навоза и травяной жвачки на удилах. Чего только не врут люди, чего не болтают о московских делах. А вот что верно, так это возле деревни Прудичи убило грозой крылатого змея, чешуя у него была вся в зрячих глазках. И пока он лежал там да растекался гнилью, не переставая шел дождь, а чтобы его закопать, землю возили на детях. И еще видели некоторые, как од-

нажды ночью звезды на небе сложились в письмена, предсказывавшие будущее, но среди видевших не нашлось ни одного грамотного, чтобы прочесть.

9

Ходили по деревням и селам неизвестные люди, рассказывали про нового вероучителя Феодосия Косого. Вычитал Косой в сокровенных книгах, что работать по средам и пятницам грех. Когда же проповедников спрашивали, как тогда нести повинности, те отвечали, оглянувшись для осторожности: а и не надо их нести. Как израильтяне бежали из Египта, забрав с собой фараоново богатство, так и вы бегите из холопского пленения. У христиан, уверял Косой, вообще не должно быть ни властей, ни войн. Про самого Феодосия говорили разное: будто он давно схвачен у литовской границы при попытке бежать и сожжен как еретик; другие уверяли, что он успел бежать, но не в Литву, а к немцам. Достоверно же было, что многим, разносившим такие речи, укоротили языки. По всем дорогам можно было встретить ватаги людей, объяснявшихся быстрыми знаками пальцев. Это были самые смелые на Руси вольнодумцы, они могли говорить между собой обо всем, не боясь доноса. Открыты рты, шевелятся обрубки языков, дергаются головы и пальцы — кто был их свободнее? Некоторым язык отрезали трижды, ибо каждый раз он отрастал заново — немного короче старого, зато потолще; такие пользовались среди братьев особым почетом. Но и они, обсудив слышанное и виденное, приходили все к тому же: опричнина не опричнина, а лучше не будет, и вернее всего бежать. Благо свободен был простор вокруг. Может, даже слишком свободен. Не будь его, пришлось бы поневоле устраиваться для терпимой жизни, где стоишь. Но был выход для силы, и она перла вширь. Убегая от государевых тягот в поисках воли, самые беспокойные из русских людей все дальше и дальше разносили на своих стопах, как семена, как прах родной земли, ту же самую власть.

10

Пока еще дойдут через отдаление московские вести, пока вернутся по кругу, перемешавшись с новостями пятилетней давности, — уже и не разберешь, что когда было. За рубежом, встрепенувшись, только спрашивали: что за

опричина? Тянулись в Москву послы — посмотреть и выведать, что творится в темной стране, везли в тороках и возках подарки Ивану, блюда украшенные и золотые кубки, одежды из парчи и бархата. У рубежа их встречали московские пристава, выбирали дорогу по местам, заселенным погуще, чтобы не видели, как запустела земля, гнали от посольских станов убогих и нищих. И в Москву провозили мимо оружейных слобод, да и народу сгоняли побольше, да велели принарядиться — пусть смотрят, пусть боятся послы. А навстречу по дорогам тряслись в возках и седлах послы московские, везли кречетов, белых соколов для охоты, меха и шубы. Шевелили губами, перебирали наказы изустные: «Если спросят, что у государя вашего за причина, отвечайте: никакой причины у государя нет. Живет государь на своем царском дворе, и кто служит ему праведно, тем велит близко жить. А которые желали неправды, тем велит жить подальше. Только и всего. А что мужичье, не зная, зовет причиной, так мужицким речам верить нечего. Если же станет кто спрашивать, для чего государь ваш велел поставить себе двор за городом, отвечайте: для своего государского прохладу. Волен государь где хочет дворцы и хоромы ставить. От кого государю отделяться? Если же станут говорить: государь ваш в Москве и других городах много людей побил, отвечать: разве вам это известно? И если скажут, что известно, отвечать со всем возможным ехидством: коли вам это известно, то знаете небось и кого покарал государь и за что. Тогда нечего вам про это рассказывать».

11

Много толковали про некоего немца-лекаря, который натравливал Ивана на русских людей. Будто бы он колдовством и травами навел на царя затмение, подучил перебить всех лучших бояр, а потом бежать в английскую землю. «Ну да! А нас на кого оставить?» — «На наместников». Говорили, будто от этого колдовства царь совсем облысел и борода у него выпала. Смотрят — вроде не он. Только голос похож. А кое-кто шепотом добавлял, будто царь давно подменен. Его мальчонкой еще удавить хотели, да спас верный дядька, припрятал, и ушел он с разбойниками в леса. «Слыхали про Кудеяра?» — «Бросьте врать! — усмехались люди себе на уме. — Кудеяр татарин». — «А говорят, царский брат». — «Вот и выходит, что

все вы дураки. Разбойника рано, поздно ли схватят да прикончат. Нет, он пока юродом прикинулся, дураком. Ходит по дорогам, кормится милостынькой, слушает, что говорят люди, смотрит, как живут. Вон вроде Беспамятного. Иван, а Иван? Ты, часом, не царь? Что смеешься?..» Так говорили, встречаясь у дороги, удивляясь всегдашнему желанию, чтобы царь оказался подмененным, чтобы он бежал хоть куда, — все перемена в жизни. Смеялся долговязый дурак в сером подряснике, в шапке с лисьим околлом, вбирал попутную молву; маленький старичок рядом с ним жадно прислушивался к разговорам, вертя головой от одного к другому.

12

Этих двух потешных путников видели многие на дорогах. Серый подрясник был дураку до колен, руки торчали из рукавов по локоть, как будто он вырос из своей одежды вдруг, в одночасье. Крохотного старика Иван носил с собой в суме, перекинутой через плечо: тот рядом с ним все нагляднее уменьшался в росте и уже не поспевал за долговязым шагом. Макарий после недолгого смущения приспособился, с любопытством озирался из сумы, и если прислушаться, можно было услышать, как он все время про себя что-то бормочет, словно обсуждает увиденное и удивляется без конца... Трепещет среди травы сизая тропа. Холмится, вздыхая, равнина. В задумчивую, рассеянную минуту творил эти места господь. Здесь можно идти бесконечно сквозь времена года, не замечая перемен, не сдвигаясь с места. Обгоняет путников нестройный отряд: московские приказные гонят к столице тверских людишек, городских детей боярских. Думали, дураки, схорониться от государственой службы. Далеко, впрочем, не убежали — по соседству, в лесной шалаш, подождать, станут ли москвичи допытываться с пристрастием, бить домашних, чтоб выдали беглецов. А удостоверюсь, что бьют, выходили тоже не сразу: пусть и домашние потерпят, пусть на себе примерят, каково служить; обидно страдать одному. И возвратясь, спускали порты для законного наказания. Каждый делал свое: одни искали, другие прятались. Удалось ускользнуть — твое счастье. Живи сам — до другого раза. А если покрикивали на них москвичи да замахивались кнутом, так это чтоб не отставали, не убегали да не насильничали, не грабили в пути сверх меры. А в меру что ж: и кормиться дорогой надо.

Мимо них проносится по дороге всадник в худом платье; под гривой коня запрятана деревянная баклага, полная дешевой, на три деньги, водки — чтоб не соблазнился никто. Через неделю гонец будет в Ливонии, еще через месяц — в Англии; в сапогах у него зашито четыреста венгерских дукатов, и в бока баклаги заделано тайное послание от царя Ивана к королеве Елизавете. Из кустов провожает всадника взглядом мужик, заросший, ободраный, страшный. Позеленелый медный крест болтается на черной шее, рот полуоткрыт, лицо выражает привычное, неизбежное недоумение, — за этот вид прозвали когда-то мужика Очунная Рожа. Его угнали тащить волоком под ливонские города байдаки, груженные известью, камнями и кольями; он догадался бежать, когда и сторожить стало некому, — почти все перемерли в гиблых местах от холода и голода; он выжил там, где не выдержал бы зверь, а теперь прячется у дороги и не знает, куда идти, — изможденный, вышибленный из колеи беглец.

Выбирается на обочину черный жук с полосой на блестящей спинке, ползет уверенно по прямой. На его пути горы и пропасти, он падает в ямы, переворачивается на спину, долго барахтается, чтобы вернуться на лапки, и с трудом выбирается опять вверх по песчаным осыпям. Скала кожаной подошвы нависает над ним, обвал песка шелестит по сухим надкрыльям, содрогается земля — но пронесло на сей раз. И ползет жук, ползет, не замечая, что низвержением песка уже вывернуло его головой в обратную сторону, ползет с той же несомненной уверенностью, неукоснительно по прямой, одолевая изо всех сил все те же преграды. Ветер гладит его блестяще тельце. Прохладно переблескивает листва. Небеса отражаются в зеркалах цветущего льна. Едут по дороге конные, идут слепцы, положив руки друг другу на плечи, бредут куда-то люди — в тщетной надежде добраться до кромки окоёма, дотронуться рукой до ледяных лазурных небес и напоследок ощутить щемящую тесноту жизни. Солнечные лучи вырываются из-за облака на четыре стороны мельничными крыльями. Все наливается светом, все полнится жарким соком, предвещая кому-то новую пору жизни, неведомую тревогу и страсть.

11. Туман

1

Ах, как чувствовал Макарий недоумение многомудрых собеседников, которые навещали его когда-то в моховой келье и сейчас иногда нагоняли, запыхавшись, пока Иван спал на траве, подложив под голову шапку, а старик выбирался из дурацкой сумы и с наслаждением пробовал землю босыми пятками, впрочем, осторожно и недолго, потому что начинал чувствовать в подошвах опасное щекотание, как будто там шевелились готовые проклюнуться проростки. Он даже слышал краем уха, как старцы тихонько прыскают в кулак, наблюдая за ним, и вначале скромно отворачивался, чтоб не ловить их на таком неподобающем возрасте занятии. Но когда попытался вспомнить, почему же греховен смех, то не нашел в памяти разумного объяснения, кроме чьих-то слов о том, что смех есть содрогание смущенного нутра, и перестал отворачиваться. Его самого все чаще подмывало посмеяться над самим собой. Смейся, смейся, Иона, и ты, Савва, поощрял он собеседников. Выковыряли опять червя, огнем выжгли из скорлупы. И чего же он теперь хочет? Ступнями ног приблизиться к мысли, до которой не дошел умом? Смешно, ты прав, Никодим, можешь не закрывать рот, хоть зубы у тебя, и верно, стали ох-ох-ох. Нас несет куда-то, любой поворот дороги, любая попутная телега меняют направление. Но кто из вас скажет мне, зачем стремится насекомое на губительный свет? Погаси его — оно просто кружило бы в душистой ночи, однодневной своей судьбой оправдывая божий замысел. Смешно, старцы, возвращался он все к тому же. Но смеемся мы над вчерашними прозрениями, а завтрашних ищем. И самое смешное: слова озарят, когда уже не шевельнется язык их поведать.

2

Все чаще делился старик с собеседниками тревогами об Иване. Беспамятный возрастал как гриб после дождя. Большой кадык выпер на длинной шее, на щеках уже золотился юношеский пух, и во всем лице с уменьшенным подбородком, с вытянутой вперед средней частью проступала неожиданная, загадочная породистость. Но душа его словно все еще не родилась до конца — та душа, что зовется

памятью и что делает человека единым в меняющейся оболочке; она была отделена от мира материнской прозрачной пленкой: внутрь проникало все, соки, звуки, слова, но ей самой предстояло еще родиться, и родиться в муках. Старика смущало, что Иван еще не начал по-настоящему жить, а уже знает о мире и звездах, о человеческой древности и своей стране. Так падает зерно в парующую пустоту: когда-нибудь отогреется, взойдет; тревожило Макария, что в наших зябких краях ждать приходится уж слишком долго — что он станет делать без меня? В ответ слышалось покашливание; Макарий соглашался, спохватываясь, что и это смешно. Смешон, кто пробовал из крохотной скорлупы постичь истину об этой кишасей жизни, смешон, кто, окунувшись в нее, не чувствует себя дураком и еще полагает, будто может научить чему-то других. Умней всех выходит тот, кто пока помалкивает, ибо меньше всех уверен в себе. Но уже переполняет и его, теснится, щекочет, и вот он смеется тоже, и если подумать, больше иных имеет право на смех.

3

Что-то тревожило старика еще, о чем он не мог даже сказать словами, потому что причины не понимал. Однажды он задремал в суме и проснулся от женского стога; сердце неистово колотилось. Никого кругом не было, дурак шел как ни в чем не бывало по лесной дороге, разве что быстрее обычного. За деревьями видны были остатки мертвого заросшего селения: осины раскинули ветви, пробившись сквозь ребра кровли, среди кустов плетень зеленел листвою, на суку голой, без коры, липы висел разохшийся хомут, надтреснутый горшок, повитый берестой, стал пнем березы, и от него расходились побеги. Корявые стволы в теплой вечерней мгле проступали как застывшие тела. Макарий поскорей закрыл глаза, чтобы успокоиться; мы все по-своему беспамятны, когда щадим себя, не желая чего-то вспоминать. Он оцунулся опять от тряски, ничего не понимая спросонья. Иван продирался куда-то по рассветному лесу, вслепую, сквозь ветви, сквозь вязкую туманную завесу. Не глаза — все вокруг затынуто было непроглядным бельмом. Земля купалась в теплом одуванчиковом молоке. Ветви хлестали старика по лицу, он пытался выговорить что-то, но боялся от тряски прикусить язык.

— Оп-пусти, оп-пусти, оп-пусти меня наземь,— вырвалось у него наконец.— Куда ты?.. Иван, Ив-ван, Иван-дурак...

Беспамятный не слышал. Оглохший, ослепший, он неся напролом, не разбирая дороги. Ветки дергали его за рукава, пытались остановить, бормотанье старика мешало, как репей, зацепившийся коготками за платье; Иван не заметил, как стряхнул его с себя. Ноздри его дрожали, словно у животного, но он сам не знал, что почуял и за чем гнался в тумане. Подмененный воздух полнился сердечным биением. Нарастало предрассветное лягушиное кваканье, подтверждая близость сырых мест. Влага полноты, предгрозовая тревога спирала дыхание. Вдруг туман упал, будто разом отяжелел, свернулся в траве хлопьями, и впереди, среди древесных стволов, дурак увидел ее. Она удалялась быстро, бесшумно. Длинные спутанные волосы с клоками сена в них почти закрывали страшную наготу. За деревьями открылось озеро, и когда она ступила в воду, вода окрасилась кровью, а впереди прорезалась, как из десны младенца, красная кромка солнца. Тогда она обернула к Ивану изможденное лицо с гниющей кровавой раной на лбу; огромные глаза ее были невидящи. Запах тлена, запах тяжелой сладости и рыжего мха подступил пузырем к горлу, Иван вспомнил эту тошноту бесконечно далекого времени, когда увидел в сумерках на земле четырехногого скомороха...

Когда он разогнулся, видение исчезло. Рассветное сияние слепило глаза, а в небесах еще светился ноготок луны, бледный, как кусок белого облака рядом. Иван стоял среди леса один, ошеломленный внезапной тишиной, не понимая, где очутился. Лишь тут до него дошло, что он потерял на бегу старика. Он закричал; крик вырвался не из горла, а из самой утробы. Отклик, слабый, как эхо, послышался сзади. Иван побежал на звук, крича и останавливаясь, чтобы услышать ответ,— все ближе, ближе, совсем рядом. Он выбежал на поляну. Вспыхнули на солнце нити паутинных волос и пропали. Куст ольхи еще трепетал. Исподлиствы переблискивал от прикосновения ветерка. В невнятном шелесте затихал знакомый голос, полный нежного

ужаса и смертной тоски. Ивану стало страшно. Кружился лес, спутались стороны света; казалось, он сам вот-вот потеряет себя и растворится в чаще.

6

Не сразу Беспамятный заметил, что стоит по щиколотку в воде. А когда заметил и рванулся в испуге, вода тут же стала ему по колено. Она не отпускала его, цеплялась за ноги. Подхваченные непонятным, внезапным наводнением, среди стволов плыли перепелиные гнезда и травяные кочки. В гробовой долбленной колоде, как в корыте, проплыла мимо пара зайцев, следом кружилась, словно в танце, легкая от пустоты берестяная колыбель. Плыли кверху лапками дохлые крысы, плыли сухие девичьи венки и ветки, плыл мусор всех дорог, по которым прошел когда-то Беспамятный. Он увидел впереди сомкнутые губы, cedившие озерную воду; верхняя, пошире, была холмом острова, а нижняя — его отражением. Беспамятный рванулся к нему, приподнимаясь все больше на цыпочках, закидывая вверх еще способный дышать рот. Шапка свалилась с его головы, закружилась в водоворотцах вместе с прочим сором. Долговязый детина, он тонул, как младенец, потому что не догадывался или боялся сделать единственное, что могло его спасти: оторвать ноги от земли. Последнее, что Иван успел увидеть в опрокинутых небесах, было уродливое лицо старухи с двумя черными пеньками зубов в пустом рту.

Часть вторая

1. Маркел Ногтев

1

Тени всадников на зеленовато-белой дороге были ярки, точно от солнца, — неземные, вывороченные, чернее самой черноты. Такими ночами младенцы беспокойно ворочаются в материнском чреве. Каждый древесный лист был выявлен до подробного зубца драгоценной серебряной чеканкой, узорной тончайшей чернью, и, вбирая, усиливая разлитое вокруг сияние, блестели камни и шитье на кафтане Маркела Ногтева. Он для того и скинул плащ с монашеским черным куколем, чтобы показать себя хоть ночному свету. Ай, Ногтев, слышалось ему в перестуке подков. Ай, да Маркел! Давно ли той же дорогой ты скакал, опозоренный, оставляя за собой вонючий след бессилия и страха? Давно ли кружил, облизываясь, под вожделенными, недоступными стенами? Двухсаженные, из тесаного камня и обожженного кирпича, они воздвиглись позади Кремля, источая звериный горячий дух, маня пьянящей надеждой возвыситься, наконец — исполнить вдруг, одним махом, самые смелые злые сны. На окованных белым железом воротах скалили пасти два разрисованных льва с зеркалами заместо глаз, резной, разодранный в головах надвое орел раскинул над ними черные, как ножи, перья, отвернувшись сам от себя, по всем углам воронами торчали нахохленные черные стражники, им ничего не стоило пустить в тебя стрелу от скуки, для забавы или острастки — но Маркел все возвращался сюда словно бы мимоходом, грозя накликасть беду, кружил, как хорек у курятника, сам похожий на хорька: маленький, верткий, злой, остролицый, белые мелкие зубки открывались под вздрагивающими неряшливыми усами, ноздри завистливо вдыхали хищный кровавый запах, и он все глотал и глотал слюну, так что ходил ходуном кадык.

И не тесны были кованые ворота — да как проскочить? Как было объяснить тамошним шавкам, что ты свой, хочешь быть своим, и лаял бы не хуже, и клыки — вот они, только испытайте? Рассказывали, что сам государь отбирал себе в новую службу, устраивал каждому допрос не то что о предках, о родстве по матери и отцу, о дядьях, кумовьях и седьмой воде на киселе, но и кто с кем служил, с кем водит дружбу. Беда была промахнуться — а как угадать завтрашнюю погоду? Вчера еще давил боярин конем народ по пути в Кремль, пренебрегал даже ударять в подвешенную к седлу литавру, чтоб расступились, а сегодня, глядишь, висит на собственных воротах с высунутым языком, а сына его черные стрельцы раздирают за руки за ноги веревками, а где прочая родня — лучше не спрашивать. «Но что родня, что родня-то? — бормотал сам с собой Маркел, ворочаясь перед сном на ставшем вдруг жестким изголовье. — Ты, государь, прикажи только — родную мать не пожалел бы ради тебя. Жаль, правда, что уж нету ее в живых, царство ей небесное; но даст бог, на том свете помучается. Ведь без последней деревеньки оставила, монастырю отдала на помин своей ненужной души. И приписала, родимая, игумену, будто издевалась: не оставь чадушко мое пойти по миру. Только бы и жить ее молитвами да игуменскими благодеяниями — давно бы сидел у паперти...» И скрежетали мелкие зубы во сне, но не слышал государь Иван Васильевич сердечного воя, не имел случая убедиться, как бы хорош ему был Маркел Ногтев: межеумок, ни то ни се.

3

Отравил Маркелу жизнь собственный слуга, скопец Парфен. Долгорукый, сутулый, всегда с длинным ножом у пояса, он служил еще отцу Ногтева и единственный помнил недостоверное предание, равнявшее Маркела в дальнем родстве хоть с князьями, со всеми этими Горенскими, Курлятевыми, Кашниными, Ногтевыми и Ноготковыми. И предание-то давно усохло до макового зерна, не сыскать было тех бумаг, скотская плодовитость прадедов безнадежно раздробила и земли, и честь; но преданному скопцу оно, казалось, было дороже, чем Маркелу. Как будто он не хотел бы оставаться рабом меньше, чем княжеским, и, не

сомневаясь в близком возвращении справедливой судьбы, считал только нужным подталкивать господское честолюбие. Дома наедине он называл Маркела не иначе как «князь» и умел услаждать его душу, рассказывая что-нибудь новенькое, постыдное про нынешнюю знать: как в думе, подравшись, оттаскали за бороду Головина, как государь напугал медведем Сицкого, так что тот наложил в порты, как похабничает царский шут Осип Гвоздев — а ведь тоже был из князей Ростовских. Он так знал на память родословные, что мог быть бы судьей в местнических спорах, и с усмешкой на длинных узких губах перебирал унижения, на которые шли старинные семьи, умаляясь в чинах перед родами менее знатными. Из этой усмешки следовало, что он, Парфен, до такого не допустил бы, если б оказался при них, а Маркел выходил выше всех, потому что вообще не равнялся по их счету, дожидаясь своей поры в стороне. Это было, если подумать, черт знает что, Маркел иногда готов был усомниться, не свихнулся ли честолюбивый раб на заносчивых видениях, не выдумал ли он и родословную, и родовое гнездо — стоявшую до сих пор где-то у дальнего озера княжескую крепость с острогом, воспоминание о которой смутно проступало то ли из детства, то ли из воспаленных снов. Но вопреки рассудку сладостно было это слушать, сладко было скинуть крашеный простой кафтан, в котором толкался целый день по приказам, открыть шитый серебром пояс, надеть на каждый палец по дорогому перстню, а на иные по два. Отрезвление наступало, когда он на ночь садился пересчитывать дневную добычу, и сколько ни выходило, все равно язвила мысль, что любой приказный наверняка зашиб больше. Он срывал свою злость на скопце, который разжигал в его крови ненужный зуд, мешавший определиться, наконец, на доходной простой службе. Безбородое лицо Парфена с мучнистой кожей раздвигалось в желтозубой улыбке; битье, казалось, заменяло ему другое удовольствие, коего он был лишен; так большой старый зверь позволяет младшему пробовать на себе зубки и умиляется его возмужанию.

4

Промышлял Маркел чем попадет, главным образом — перепродажей мягкой рухляди, но еще больше околачивался как бы между прочим по приказным избам, где

воздух был потен и столь густ от алчности, горестной злобы и гула государственных забот, что сам давал навар, отяжеляя накипью деньги, проходившие через липкие пальцы. Здесь подьячие, нажравшись дареных пирогов, дремотно перебирали на столах вишневые и сливовые косточки для денежного счета, здесь писцы, свесив на глаза сальные волосы, протыкали перьями бумагу, пристроенную на коленях, здесь мухи вязко жужжали и оседали на глиняных кувшинах и берестяных чашках с морсом, занесенных с улицы лоточниками. Здесь Шапкин-дьяк с перебитым разбойным носом дышал в лицо перегаром, намекал пойманному грабителю, кого из купцов и крестьян побогаче обвинить в соучастии, чтобы потом вдоволь их подоить. Здесь сопливый Илейка Возгря записывал выдачу меда на иноземцев, уже месяц как умерших, и уж Маркел-то знал, что стоило из года в год задабривать Ивана Григорьева в Разрядном приказе, чтобы не замечал тебя в воинских списках. Где слыхано — на вербе груши? А где видано — приказный, да добр человек? Он с камня лыки дерет, с грязи пенки снимает, из осьмины четвертины тянет. А сам ведь, посмотришь, плюгавенький, ободрать его — голенищ не выкроишь. Маркел ненавидел эту корыстную продажную сволочь тем больше, чем сильней завидовал, — сам уверяя себя, что презирает свысока худородных грамотеев, сморчков, на копейку фунт сушеных, и по своему выбору предпочитает служить, как говорится, за козла в конюшне, посредничая при разных каверзных делах, снимая не хуже приказных пенки с грязи, да еще какой! Пронырливый, хваткий, бесстыдный, он прибрал к своим рукам разнообразную голь и имел свою долю, когда надо было, например, поставить надежного кулачного бойца на чей-то судебный поединок или подослать к прижимистому купцу расторопного ярыжку с припрятанной кружкой вина, чтобы потом потащить хозяина с поличным на Земский двор за незаконную торговлишку и там уж порастрасти. Не хуже голи он был хитер на выдумки. Он даже свою Дарью-стерву, к которой хаживал ночевать в Зарядье, приспособил к полезной добыче: складно умела, собака, оговорить перед судьей в насилии и позоре кого угодно, особенно же неосторожных монахов. Уж так расписывала все до мелочи рассыпчатым хрипловатым голосочком — глаза, подведенные до висков, потупив, круглый румянец, нарисованный свеклой, кажется настоящим, а язычком розовым, влажным облизывает яркие губы и такую ему дает волю —

даже у судьи Пивова, получавшего ото всего свою треть, маслянели кабаньи глазки. И ведь не повторялась, паскуда, вспоминала всякий раз новенькое, так что никто не уходил без откупа, да еще с сожалением, что не было этого всего на самом деле. Сам Ногтев, слушая ее, начинал сомневаться, нет ли правды в ее словах, и от недоверия, случилось, бивал Дарью — впрочем, не сильно; она все-таки была на полголовы его выше. А ей это, как Парфену, будто даже нравилось. Распаляло ее, что ли.

5

И вот, казалось, забрезжила возможность чуда, о каком только во сне и грезилось. Низвергались бог знает с каких высот в грязь и тьму, возвышались неведомо откуда другие — чернецы на вороных лошадях, и Маркел душу бы продал, чтобы увидеть себя одним из них. Среди тех, кто попал в опричнину, можно бы сыскать ходатая, хотя неизвестно, стали бы еще за него ручаться головой, даже за хорошие деньги; но главное — опасными вдруг оказывались многие ветви родства, в котором уверил его Парфен, родства, с которого никогда не было никакой корысти, только расстройство; теперь оно, почти несуществующее, почти выдуманное, лишало уверенности, тянуло за ноги камнем. Как было в этой круговерти не промахнуться, как угодить к тем, кто получил право мучить, а не наоборот? Все стало непонятно, ненадежно; утопили в проруби удельного князя — но схватили попытать и купчиху-соседку, разоравшуюся посреди улицы: «Кровопиец, человекоядец!» Иди божись теперь, дура, что поносила своего только мужа! Слуг стали бояться: не донесут, так оговорят в отместку за прошлогоднюю выволочку. Скажут, что в Литву хотел бежать, или, как князя Воротынского, обвинят в колдовстве. Много ли надо? То-то и оно, что немного, а можно было вовсе без ничего обойтись. Вначале еще опричники исхитрялись: подбросят через забор кольцо или шапку, потом сами же вломятся во двор, уличат и безо всякого суда начнут вымучивать деньги. Да мало ли чего! Маркел слюну пускал, примеряя, сколько бы им мог подсказать. Но ни к чему оказались и советы, наловчились брать свое просто так, не изощряясь: схватят, выпотрошат, а там и убьют, и труп бросят в колодец или в ров псам, чьи головы с еще свежей кровью на оскаленных клыках украшали скоро седла кромешных всадников, заставляя

коситься и вставать на дыбы коней, привыкающих к страху медленней, чем люди. Обидно, что говорить, и не было тут вкуса, чувства справедливости. Опричные владения начинались прямо против ногтевских ворот, на другом берегу Неглинки. Там у Маркела был когда-то второй двор, и он потел от мысли, что не угадал, промахнулся берегом. Не в береге, конечно, было дело — переселяли и с насиженных мест, — но в предчувствии, и в предчувствии вещем, что именно оттуда придет к нему, бесталанному, непоправимая беда: из своего же дома, ради корысти проданного голобородому безбожнику немцу с тараканьими усами.

6

Звали его Генрих Штубе, он получил в Москве обычную привилегию иноземцев: курить вино, варить пиво и ставить мед. Приходивших к нему из посадов с ведрами и кружками Штубе привечал ломаным русским ругательством, называя каждого «пьяница» и «сукин ребенок». Маркелу это казалось почему-то обидно. Хотя именно к нему Генрих выказывал отменное дружелюбие и никогда не скупился на даровое угощение. Двор был теперь огорожен дубовым тыном. Двери и ворота запирались железными цепями на крюках. В избе на стене висел светец с железными ушами, у печи — топор и ухваты, на полках всяческая посуда: ковши, ендовы, осьмухи, полуосьмухи, большая медная воронка. По краям самой крупной ендовы, как утята при утке, висели чарки для мелкой продажи с крюками вместо ручек. Гребет, сволочь, деньги, угрюмо убеждался Ногтев. Почему я не мог? Да русскому разве дадут? То ли не доверял государь честности и чистоте своих, то ли считал, что это занятие позорное и свои посовестятся спаивать народ. А может, думал и то и другое вместе. Все равно было обидно. Немец присаживался напротив, пощипывал краюху хлеба и отправлял крошки под рыжую щетину. Особенно раздражал каждый раз Ногтева голый его подбородок.

— Бесстыжие вы, немцы. Бесстыдней козла, — говорил он, начиная понемногу хмелеть.

— Почему же мы бесстыдней козла? — ничуть не обижался Штубе; возможно, он еще неточно знал по-русски, что такое козел.

— А потому! — радовался вопросу Маркел. — Козлу поди отрежь бороду! Он козе на глаза не покажется. Парфен у меня безбородый — так он скопец.

Немец покладисто кивал — коренастый, крепенький, голова кругляшом, на волосах коротких — теплая шапочка. Но он ошибался, если думал остудить Маркела видимостью согласия, никак не обязываясь при этом действительно прикрыть срам лица. И Ногтев уж тогда ему выкладывал про немцев все.

— А зачем вы удавленнику едите? — спрашивал он, сам тоскуя и стыдясь за нехристя.

Тот уже не улыбался, но стыд в него все равно не проникал.

— Я не ем, зашем мне удавленника, — вяло сопротивлялся он.

— Не ешь! Ешь. Все немцы ждрут удавленнику. И мертвечину, и ослатину. Бобровиной и той не брезгают. Хвост бобровый — едят немцы? Ам, ам, — пояснил Ногтев движением челюстей. — Тьфу, противно ведь!

Защищаться Штубе становилось трудно, тем более что про бобровину он знал еще менее точно, чем про козла: вид ли это змеи или ящерица. Чтобы не злить без толку Ногтева, он шел на частичное признание: это, наверно, немцы-католики едят бобровину. Да, паписты! Эти развратники на все способны. И придя к недолгому согласию, они принимались оба поносить немцев-католиков.

7

Где-то посреди выпивки Ногтеву становилось вдруг все-таки жаль самодовольного нехристя, который, возможно, не подозревал, что ему придется терпеть на том свете.

— Крестился бы хоть по-людски, — советовал он с тоскливым, но отчасти и злым состраданием. — Человеком бы сделался. Вы ведь, немцы, ни икон не почитаете, ни святых мощей. В церковь ненароком войдешь — после тебя вон метлой заматают, святой водой кропят. Боярина познатней пригласил бы в крестные. Могу замолвить словцо, недорого обойдется. У нас кто крестится, тех жалуют. Подарки бы получил.

Штубе бросал под усы последнюю тараканью крошку, поднимал торчащие брови.

— Видишь, Маркел, — говорил он, безбожно коверкая человеческую речь, — метла это, конечно, да... И сфятой фота тоже. Но это мощно терпеть. А что лючше, что хуже — как говорить...

И он рассказывал Ногтеву, как некий Карл Готлиб из

Померании принял православие и получил в подарок целый дерефня, да. «Но он хотель, чтоб этот дерефня работаль ему, как немец. А для мужик он былть теперь сфой». И когда Карл Готлиб рассердился, они рассердились тоже и повесили несчастного за ноги.

Так лопотал дружелюбный немец, подливая Маркелу из большой оловянной кружки. Рыжие волосы вокруг его губ топорщились теперь скорей как перышки на курином заду и казались даже испачканными пометом. «Ишь разъелся на русском хлебушке», — думал Ногтев. Иногда он спрашивал Штубе про немецкую жизнь и порядки, удивляясь несуразности того и другого. Немец рассказывал, как учился в школе и собирался стать богословом, но вынужден был бежать из родной Вестфалии, потому что на него грозили подать в суд родители соученика, которого он нечаянно ранил шилом в руку. «Шилом в руку?» — удивлялся Маркел, и Генрих тоже качал головой, удивляясь невинному детскому вздору. Он рассказывал, как работал на постройке городских укреплений в Любеке, как, натрудив тачкой кровавые мозоли, понял, что это занятие не для него, и бежал, прихватив доверенные ему для раздачи деньги. «Так ты еще и вор!» — возмущался Ногтев, чувствуя, как все более созревает для того, чтобы дать немцу в рожу, но Штубе оправдывался, что воровал у нынешних врагов русского государства и, значит, ему самому косвенно приносит пользу. Как бы там ни было, после очередной чарки Маркел начинал чувствовать, что мысль о грозящем нехристю загробном возмездии, пожалуй, не так уж его огорчает, однако еще не утешает вполне. Становилось совсем тоскливо, к тому же ему начинало казаться, что Штубе говорит с ним теперь по-немецки, непонятно. Он пробовал распалиться заново, но ругал все равно католиков и уходил наконец из корчмы со смутным чувством, что его и на этот раз обманули, что даровым угощением немец откупается от чего-то большего, что он ему должен. Вместо последнего довода, на всякий случай, он уже у дверей совал ему под куриные усы кулак, не то что большой, но с костяшками острыми:

— А это вот нюхал? То-то. Запомни.

8

И не для пустого словца сжимался кулак, вот уж нет! Очень скоро довелось Штубе разобрать, чем пахнут побелевшие от злости костяшки, когда Маркел уличил его в

укрыватьстве краденого. Дело это было для Ногтева привычное, расхожее: он подослал в корчму своего слугу Рудака, крещеного татарина, и тот оставил в заклад рубаху с завернутым в нее перстеньком да десятком монет. Самым хитрым было подсмотреть, куда немец схоронит сверток, остальное уже игра: потащить Рудака к тому же судье Пивову, заявить о краже на полтораста — нет, лучше двести рублей, и вот уже на двор к Штубе ввалились с фонарями приказные да целовальники, а при них еще непонятно какой народ, из тех, кто всюду ищут, не оценится ли им копейкой или чарочкой. Рудак, раздетый, несмотря на мороз, догола (чтоб не мог ничего подбросить), для виду только потолкался малость по углам, и улика была у него в руках, а там можно было спросить и остальные денежки. У немца хватило ума долго не артачиться. Ногтев даже пожалел, что не заявил сразу на полтысячи, да Пивов, пригребая к себе законную треть, его охладил:

— Ты уж не обижай нездешнего человека. Он у нас все одно что сирота. Кто за него заступится?

Сирота, как не так! Ногтев не сомневался, что, если приведет судьба немцу брать деньги с него, у Пивова будет и с этого доля. Все знали, что он правит на людях по сту рублей и больше. Мастеровые делали ему все задаром, а Карпов-купец поднес на рождество гуся, тяжело начиненного золотишком. Насторожила, однако, легкость, с какой немец уступил — и даже не утратил обычного дружелюбия, встретил, позвал выпить как ни в чем не бывало. Но до конца Маркел понял свою тревогу, когда Неглинная отделила его от вожделенного опричного царства, а немец оказался на берегу удачи — не обремененный опасным родством, никаким подозрением. Во всем, во всем на русской земле лучше оказывалось пришлому, чем своему.

9

Генрих Штубе загородил ему дорогу к дому черным жеребцом в час вечерних сумерек, когда все собаки становятся одной масти. Слиплась подмерзлая шерсть у конского брюха, задралась в стремени подошва с серебряной подковкой, с расплющенной среди грязного талого снега навозиной. Немец теснил его грудью коня, под черной накидкой на овечьем меху виднелось шитое платье, в колчан воткнута короткая, нерусская какая-то метла из березовых

прутьев. Шетинистое круглое лицо казалось торжественным.

— Маркел Ногтев! — провозгласил он на мерзком своем наречии. — Я порешил убить тебя сафтра вешером, когда ты станешь возвращаться в дом. Да! За то, что не по-христиански ты со мной обошелся.

Из конского рта дохнуло влажным сеном и слюной, и собачья голова щерила от седла пасть с неживыми синими деснами и лилово-черным высунутым языком, ошметки гнилого мяса свисали с обрубленной шеи. И хоть вечер был по-весеннему оттепельный, подошвы Маркела примерзли к месту. Штубе удалялся в переулок за высоким частоколом, круглая голова, как колобок, перекатывалась по остриям, и Ногтев мысленно старался задержать ее хоть на одном, насадить прочно. Наконец он сдвинулся с места, слясь в походке сохранить выражение достоинства, с каким удаляется побитый соперником кот; но сам-то он знал, что ему мешает идти. В горнице он прогнал Парфена, сам снял обмаранные порты и через стену крикнул скопцу, чтобы к утру, едва уберут с улиц рогатки и откроют заставы, собрал все ценное, что можно увезти верхом, и ждал его с лошадьми в Зарядье у Дарьиных ворот. У себя дома и ночевать было страшно. Подлый нехристь! Разве русский оставил бы мучиться целые сутки?

10

Та ночь довершила его позор и крушение. Леденистый жгут так и застрял в хребте, начисто лишив силы. Дарья злилась, урчала, покусывала его поощрительно, потом больней, а когда Маркел от досады и боли вздумал ее, как бывало, поучить, вдруг напомнила ему весьма чувствительно, что не зря на полголовы его выше. А может, надеялась проверенным способом довести на этот раз его до нужного запала? Увы, увы! Остаток ночи Ногтев промерз в холодных сенях, где запах кислой капусты один когда-то мог облажить с похмелья не хуже рассола; но что опохмелит, когда и пира-то не было? Он продрожал напролет до утра, ощупывая побитое лицо и с ужасом убеждаясь, что большая часть его бороды осталась у девки в ручище, причем без боли даже, как будто едва держалась и выпадала сама. Ногтев удостоверился в этом, выщипывая для пробы по волоску, а то и пучками. К рассвету он совсем закоченел, готовый усомниться даже в верном Парфене, но засветло

уже скакал верхом по сонным кривым переулкам, где пахло дымом, помоями и горячим хлебом, скакал прочь от столичной заставы к дальнему острогу, последнему остатку былой вотчины, оставив на верное разграбление московский дом, утварь, и рухлядишку пушную, непроданную, и хлебные запасы, но отнюдь не уверенный, что откупится этим, насытит возвысившегося врага. Он просто бежал очертя голову, как случалось бежать с поля битвы его далеким, увы, предкам, и будущий летописец мог бы сказать про него, как про них, что он, Ногтев Маркел, царапал себе с досады лицо и кусал браду зубами — если б от волосяной поросли, коей он так неосторожно гордился перед тем же немцем, оставалось хоть что-то стоящее; лицо, верно, было расцарапано, так ведь не им. Но, как говорится, не честен бег, да здоров, и стоило ли вслушиваться, какими словами поминал сквозь стиснутые зубы беглец и безбожного немца, и девку-суку, иногда мстительно путая их и обещая сделать с каждым то, что хотел бы, но не смог сделать с другим.

11

Давно ли это было? — а казалось, в другой жизни. И вот он ехал в благоуханной ночи — сам клок этой ночи, на черной, как тьма, кобыле. Лоснилась под луной гладкая шерсть, переливались зеленым светом камни на драгоценной сбруе, на богатом ездовом кафтане: жемчужное ожерелье, пристежные запястья, золотое шитье, серебряное кружево на полах. Белела трава. Бескровная луна томила над головой в собственном дымном соку, улыбалась улыбкой довольного человека. Светящийся туман шевелился, клочкотал внизу над лугами, струились из темноты голоса. Мягко перестукивали в пыли копыта, тряслась в тороках добыча, которую он мог теперь не копить по-купечески, а раздавать по-княжески слугам. Он ехал во главе отряда — не смирившийся с издевкой судьбы, сумевший повернуть ее к себе лицом или каким хотите другим нужным местом — девку на полголовы себя выше. Он всегда знал, что сделает что-нибудь такое, не хватало только словца, скоморошьей подсказки. Да, у него был теперь в дворне и собственный скоморох; он подобрал его как-то по дороге на лесной опушке, избитого до полусмерти; шея, вывернутая набок, хранила след рубца, как будто хотели Бестужа повесить, да не довели дело до конца. А небось было за

что. Краснорожий, уже с сединой в пегой бородачке, Бестуж врал про себя много и охотно; по его словам выходило, будто он поднял целую волость на бунт против притеснений боярина Трушина, будто убить его хотели свои же, скоморохи, считавшие, что он навлек на них беду, и будто у него теперь одна дорога: к разбойникам в темный лес. Неизвестно, какая часть этих рассказней была правдой (если правда тут вообще была); наметанный глаз пройдохи, видно, сразу же кое-что угадал в Маркеле. Тот как раз начинал подбирать себе народец, с которым можно было бы промышлять на дороге и в окрестных посадах; Парфен тайком наведалься в Москву за оставшимися слугами, да и бродило повсюду достаточно отчаянных людишек. Однако нужна была скоморошья мысль, наторевшая в ряженье, чтоб дойти до последней догадки: перерядиться в черное, прицепив к седлам метлы да собачьи головы, — хотя Маркелу потом казалось, что он сам именно это и замышлял.

12

Страшновато было начинать, имея при себе всего одиннадцать человек, но все оказалось даже проще ожиданий. Один вид ночных всадников отнимал у людей волю сопротивляться; безопасней казалось перетерпеть — а потом хоть и жалуйся! Дважды наведываться в одно место Ногтев не собирался. Все решали нахрап и наглость, с какими он врывался в посады, в богатые дома; если сразу видел страх — добро, а при малейшем сомнении — схватить за горло, оглушить, не дать опомниться. Обычно было достаточно помахать перед носом грамотой, не очень даже похожей на настоящую, — читать ее или проверять печать все равно не собирался никто, верили на слово, что тут царский наказ переписать девок для отправки в Москву, и тем более без слов догадывались, что дочерей не тронут, если не поскупишься на откуп. Места были не глухие, знали, что такое опричнина; в перепуганной насмерть стране все было возможно. Можно было обойтись вовсе без грамоты, но, как ни смешно, она самому Ногтеву прибавляла уверенности — чувства, что он не грабитель безродный, а берет по закону свое, недоданное несправедливой судьбой. Что до девок, то Ногтев своим людям давал потешиться на месте, но с собой брать запрещал — отчасти из осторожности, отчасти для того, чтоб жаднее рвались за новой добычей, но еще, увы, чтоб

самому не вспоминать и не показывать собственной злощастной слабости. Что поделаешь, полного счастья и радости не получалось ни в чем. Он вообще был из тех, кто, даже заимев сто рублей, обречены скорбеть об упущенной копейке, а тут была не копейка, отнюдь. Да еще Парфен тряся сзади мрачный, согнутый, долгорукий, с единственным оружием — длинным ножом у пояса, всем своим видом выказывая сомнение, та ли это судьба, которую он ждал, искал, накликавал для себя и Маркела.

13

Влажный туман внизу казался надышанным. В сытом и толстом нутре кобылы что-то ворочалось, клокотало, екало — там, в утробных недрах, шла своя жизнь, отделенная от легкого бега над бездонными, в тумане, лугами. Они возвращались в родовое ногтевское гнездо, ставшее гнездом разбойничьим, и скоморох Бестуж за спиной Маркела затянул вполголоса песню, ища выхода пузырящемуся восторгу:

Как по лесу темному
Едет князь удаленький...

— Стой, — обернулся к нему Маркел Ногтев. — Пой сначала.

Как по лесу темному
Едет князь удаленький...

— Езжай поближе, — остановил его снова Маркел. — Еще сначала.

Он вдруг почувствовал, как возвращается к нему жизнь, напрягается, твердеет — впервые после Москвы: жизнь, сила, память, равнявшая его с самим собой. Он не давал Бестужу продолжить песню, возвращая опять к началу, желая снова и снова слышать слово «князь». Угодил, угадал скоморох. «Да пой же, пес, говори опять!» Болезненный сладкий нарыв требовал освобождения, и Маркел пожалел о своем запрете, как не жалел никогда ни о чем в жизни, — он, умевший тосковать об упущенном. И на всем свете не было сейчас человека, который бы так ясно и пронзительно знал, чего ему не хватало: бабы, вот здесь же, немедля, сейчас, среди дороги, и сразу нагой,

а то ведь, глядишь, и не успеть. Когда совсем близко, из тумана, послышался вдруг собачий лай, Маркел даже вздрогнул — как будто это был ответ его мысли и желанию. Он знал окрестные места, жилья на много верст вокруг быть не могло, и там внизу, откуда шел лай, начиналось большое озеро. Но неспроста же взялась собака! Прихватив с собой Парфена, Ногтев свернул с дороги на лай, который становился все более взволненным и яростным.

14

Когда они опустились в туман по пояс, пес выскочил на них сразу внезапно, как призрак. Большое, темное проступало за ним — стог сена. Маркел оставил собаку на скопца, сам в нетерпении спешил, уже почти уверенный в том, что увидит, и даже боясь столь скорого ответа ожившему желанию. Стог зашевелился изнутри, едва он начал ворошить сено, а в следующий миг Ногтев ослабел: как он ни ждал этого, слишком чрезмерным было воплощение чуда. В стогу пряталась женщина. Она была нагая, точно сгустилась из вязкой белизны. Лицо ее было бледней туманного луга под луной, и посреди лба чернела круглая зловеющая рана. Ногтев даже успел дотронуться до ее прохладной и влажной от страха кожи, но тут пес с хрипом кинулся на него, клацнул зубами у самого горла — еще живой, хотя с почти перерезанной шеей. Парфен последний раз ударил его ножом, а он все еще пытался поднять от земли кровавую морду навстречу уже мертвому оскалу собачьей головы у седла. Белое пятно растворялось в тумане, девка-судьба убегала, едва пойманная. Маркел вскочил на лошадь, чтобы верней настичь. Хотя он был верхом, туман оставался ему по пояс — непроходимый, словно чаща, и сверху невозможно было ничего разглядеть. Дальше начиналась опушка леса, ветки хлестали, упирались в лицо, стволы деревьев возникали на пути внезапно. Скопец потерялся где-то позади. Ногтев опять спешил — и оказался по щиколотку в воде. Он вдруг перестал понимать, где находится. Стало быстро светать. Голос Парфена то удалялся, то приближался. Лошадь фыркала и упиралась, не желая идти дальше. Ее страх передавался Маркелу. Когда взошло солнце и туман опал, он увидел, что стоит уже по колено в воде, среди лесного разлива, прибывавшего на глазах, и вдруг вспом-

нил, похолодев, слышанную в детстве сказку про это озеро, про внезапные его прихоти и про колдунью, утопленную в нем когда-то: летними ночами она появлялась, нагая, на берегах, и видевший ее не жил более года.

2. Бабы

1

У окольникового Бутурлина дочь слыла дурой. Догадались про это не сразу; до поры казалась девка просто жалостливой не в меру. За пределы двора ее не велено было пускать даже в церковь, слишком волновал Олену вид всякого нищего и юрода. Она не только раздавала тотчас все медяки, которыми ее отнюдь не скупясь снабжали на этот случай, но если не уследишь, готова была с себя снять что угодно, хоть золотое кольцо с изумрудом. Так что последние годы приходилось ей довольствоваться домашней церковью; но даже во дворе нужен был за ней глаз да глаз. С той поры, как вошла девка в возраст, жалостливость ее стала вовсе опасной. Хоть держали Олену строго, в верхнем теремном жилье, ославил ее свой же холоп, конюх Тешата Прыщ. На потеху дворне вызвал ее как-то вечером к окошку, стал уговаривать, чтобы спустилась к нему; плакался, подлец, слезно, грозил утопиться и даже показывал приготовленный камень с веревкой, и она, дура, утешала, уговаривала потерпеть; а в кустах покатывалась со смеху чуть не вся дворня. Конюха потом секли вожжами так, что он неделю не мог лежать на спине, и отослали в подмосковную деревню, а к девке приставили новую старуху мамку, чтобы не только следила неусыпно, но и поугала как следует, внушила дуре маленько разума.

2

Пугала старуха от души и, может, несколько даже перестаралась. Много ли нужно было девке, которая с первых кровей и так вся жила в страхах? Страшны были превращения, совершавшиеся в собственном теле, и смутные знания о будущем, о предстоящем стыде и боли, страшны были мужские бородатые лица, весь мир за частоколом, непонятный, запретный, сухой, волосатый, позор-

ный. Умней от этих страхов она, конечно, не стала. Что говорить, подзадержал ее батюшка в девках. Сперва все казалась мала, потом привередничал с женихами, покуда сам шел в гору. А женихи-то тем временем поредели; с первых казанских походов ни года не было без войны, нараставшие опалы и казни усугубляли безмужичье. За младшего Кашина совсем было сговорились — сослали вместе с отцом в монастырь; подумывал о родстве с Гундоровым — затравили дядю насмерть собаками, а племянник год скрывался в бегах, оттягивая неминуемую участь; говорят, его поймали и зарубили совсем недалеко от польской границы. Шестунов сам отворотил нос после того, как разнеслась о девке охальная слава. Хотя не в славе было, конечно, дело, а в том, что судьба семействам выходила, видимо, разная: одному опричина, сила и возвышение, другому неизвестно еще что. Бутурлин оставался в земщине и уже прогневал государя неосторожным ходатайством за родственника покойной жены, которого обвинили в измене, хотя он по немощи и слабоумию просто не был способен ни к какому делу; видно, позарился кто-то на имение старика, — не сам ли царь? Ходатаю велено было не показываться государю на глаза, покуда волосы на голове не отрастут до пупа. А в этих летах волосы растут куда как не шибко, и никто не мог поручиться, что их прежде не успеют снять вместе с головой.

3

Олене до этого не было никакого дела; она жила в теремном полусне, среди невнятных голосов и заставлявших обмирать видений, о которых не рассказывала никому. Никто не знал, что на пасху, угорев, она увидела, как из угла за муравленой печью, где в паутине болталась сухая муха, засветилось белое, крохотное, стало расти и приблизилось к ней лицом в пушистой бородке. И крылатый красивый ангел, мягко щекотнув ей ухо, шепнул, что она избрана родить сына от царя, которому имя Иван, и будет от него на земле сиянье и слава. Пахло птичьими перьями, а от дыхания ангельского почему-то еще липовым цветом, и когда Олена очнулась с лицом, мокрым от растаявшего в полотенце на лбу льда, в паутине еще трепетала застрявшая белая пушинка. С той поры вдруг исчез всякий страх, на нее снизошли спокойствие

и уверенность. Видение подтверждалось всеми приметам, всяким гаданием: башмачок, брошенный за ворота, всегда показывал носком на Кремль либо чуть правей и дальше, в леса за Троицкой лаврой; солома, накрытая сковородой, трещала и шелестела, если на нее наступить, все то же внятное имя: Иван. Распускалась весна, кружилась голова от запаха яблоневых садов; пчелы ползали по цветам, хоботками всасывая сладость, и в самой себе она чувствовала брожение весенних соков: ощутимо набухало тело, во сне она проваливалась куда-то бесконечно, и все равно было не страшно, только замирало сердце от нараставшего ожидания.

4

Так она жила, вознесенная над садом, зная об окрестной жизни не больше, чем птица, возросшая в клетке, но, в отличие от птицы, не испытывая никакой тоски и даже чувствуя себя счастливой. Хоть и плакала то и дело без причины — так ведь и слезы эти были сладкие, томительные. Охальник Тешата, по необходимости прощенный после того, как старый конюх убился до смерти, опять подкапывался к ней под окошко, опять жалобился и молил, и она опять плакала в ответ, но обнадежить уже не могла. И не потому, что не поверила ему или не жалела, — она, как и прежде, рада бы пожалеть и утешить всех, — но уже пришло к ней избранничество, которое есть любовь, и она просто не могла ему изменить, как ни терзалась сама от своей жестокости. Оставалось только надеяться, что Прыщ раздумает топиться. Топиться он и вправду не стал, а вместо этого подделал ключ от хозяйского ларца, выкрал хранившиеся там перстни и камни — и был таков. Разыскивать его окольным путем не пришлось. Дурное знамение было в ту ночь: кричала петухом курица, и, предчувствуя недоброе, Батурлин спешно отослал дочь вместе с мамкой в ближнюю свою деревню.

5

Она выезжала из дому на рассвете в разошедшемся возке, впервые после зимы поставленном на колеса, в расширяющемся кверху расписном коробке стрекозиной царицы, и сквозь слюдяное оконце, не замечая тряски, смотрела на безлюдные еще улицы города, как смотрел бы

на них человек из других времен. Просохла грязь, отцветали в садах за оградами вишни, дымчатой, нежной была зелень. Сквозь щели проникали запахи цветенья, навоза, росистой утренней пыли. Вдруг перестук под колесами захлебнулся, прекратилась качка, гул мужских голосов окружил коробок. Старуха мамка, выглянув из дверцы, заверещала и вывалилась, будто ее потащили. В накренившемся низком проеме видны были только ноги и крупы лошадей да сапоги всадников; сами они терялись выше.

— Чей возок? — спросил кто-то грубо и хрипло. — Нет ли тут царевой невесты?

Гром раздался с небес, похожий на конское ржание. Она выбралась на обмякших ногах, ничего не видя, кроме сияния и пятен, ощущая на лице смрад чьего-то волосатого дыхания; от этого дыхания увядали цветы, а зелень загнивала, но не желтела. Внезапно ей вздернули над головой подол, схватили узлом и так держали точно курицу в мешке, ошеломленную, задыхающуюся, неспособную даже завопить. Она очнулась уже от новой тряски, на соломе, в телеге, среди лежавших вповалку тел — с неясной памятью о последнем и самом страшном из страхов, что она опозорилась, недостойная ангельского пророчества.

6

В ту ночь Иван пустил Малюту, Вяземского и Васюка Грязного с сотней пищальников перебраться дома, какие назначат сами, и похватать девок для потехи, чтоб хватило поначалу на месяц. Их свезли сперва на Опричный двор, скулящих от ужаса, покидали в восемь телег и со всем обозом завтра выступили из Москвы распаленной, пьяной, дикой ордой. Бесновались собаки, орали петухи, но улицы казались вымершими или еще спящими, дома смотрели слепыми стенами, высокие волоковые оконца, несмотря на лето, затянуты были бельмами, а косячатые зажмурились ставнями. Случайный встречный издали шарахался, вжимался в переулок, будто его не было, никто не выбежал из дворов поглазеть на шум — и правильно делал; все равно потом найдется, что рассказать. Звонари не лезли на колокольни, а кто залез — притаился и звонить не думал. Закрыты были двери церковей. Отяжелевшая от росы пыль подсыхала. У Ивана першило в горле, он

без конца освежал его холодным, со льда, пивом, но ничуть не пьянел, только день вокруг накалялся яростью, зноем и ржанием.

7

Иногда, придерживая жеребца, он пропускал мимо череду телег и ловил быстрые взгляды, в которых поблескивал уже не только испуг. Он все это знал; единственный раз дошло до него, что какая-то из отпущенных им девок, вернувшись домой, наложила на себя руки, и то неизвестно еще, от позора или оттого, что прогнал без подарка. Но все равно он потом жалел, что не распознал заранее редкое сокровище — лучше бы прочувствовал. Рассказни о любовной тоске, обхаживании и приворотных зельях вызывали у него с некоторых пор раздражение; он не мог представить себя на месте людей, не обладавших силой и властью, и если разговор касался кого-то из близких, тут же с этим кончал — доставал нужную бабу. С годами все это становилось скучно — как справиться нужду. Чтобы найти новизну, приходилось каждый раз что-нибудь придумывать, и чем грязнее, тем лучше действовало. Оглядывая сейчас эту грудку бабьего мяса, он тщетно пытался расшевелить в себе хоть что-то похожее на желание. Такой вот грудой они и сливались в памяти; редко выделится кто-то особо: немолодая (как тогда казалось) нянька, которая первой пригрела мальчика-сироту, чужая красавица невеста, которую вздумалось увести к себе прямо из-под венца, оставив разбираться с женихом того же Грязного. И то запомнилась она больше из-за досады, которую он испытал, не обретя в ней девства (а ведь так было понравилась!); верней, тут была горечь измены, проникшей всюду. Бабу привязали к телеге, запряженной слепыми конями, а коней погнали в глубокое озеро, и от всего этого он так закручинился, что велел зачернить через полосу золотую главу церкви в Слободе.

8

Путь Ивана лежал в подмосковную вотчину обезглавленного боярина Федорова; отсюда он начинал погром, занявший, как рассказывали потом, шесть недель. Передвигаясь вокруг Москвы от деревни к деревне, они выжи-

гали, вырубали, вытапывали имущество изменников, убивали там всех, кто не успел удрать, не оставляли в живых ни козы, ни собаки, лишали воды рыб в прудах, а с собой прихватывали только то, что могло пополнить дорожный припас. Гонцы с московскими новостями находили Ивана по этим дымящимся следам. На ночлег становились рано, пировали с вином, потные от езды, распаленные жестокой забавой. А перед государевой опочивальней уже дожидались своей очереди двенадцать избранниц. Остальных Иван отдал челяди. Бабы уже перезнакомились, между ними установились свои чины, и доставшиеся царю покрикивали на простых стрелецких девок, хоть среди тех попадались по рождению и более знатные. Они и на самих стрельцов покрикивали, а на досуге, выискивая друг у дружки в волосах, начинали даже мечтать о вполне возможном будущем. Ревнивое соперничество, доходившее до ссор, тоже установилось почти сразу. Среди двенадцати отобранных оказалась и Олена, злосчастная дура; однако пять ночей напрасно ждала она очереди, терпя в томительном страхе последние остатки бедного своего разума: каждый раз отодвигали, оттирали ее другие.

9

Перед шестой ночью Ивану понадобилось освежить силы новизной. Он велел стрельцам окружить большой луг, напоить баб и пустить их нагими ловить кур. Поначалу шло вяло, бабы жались, куры не убегали; тогда Иван велел подбодрить тех и других стрелами. Ах ангел, ангел господень, в каком непотребстве, грязи и ужасе, в каком пьяном безумии воплощается певучий твой шепоток! Звери бьются смертным боем за право продолжить род, но кто, кроме человека, способен истекать сладострастием от кровавой забавы, посылая вместо себя стрелу пронзить женское тело? Вот оно! Настигни, сомни, изойди хрипом! Кто говорил о томлении, о встрече и нежности? Для смертельной кровавой стычки послал вас господь в этот мир, для нее рождались, росли, набухали, обретали дивные черты и ничего нет страшнее этой охоты. Куры, квохтая, носятся по кочкам, улюлюкают бородачи, летят по воздуху ангельские белые перья, и наставлены отовсюду страшные острия.

Безумная, прекрасная, оскверненная куриным пометом, она ползала на четвереньках по лугу, подвывая, точно животное, уже неспособное к человеческой речи. Она потеряла гребень, волосы, распутившись, лезли на лоб, заливала глаза кровь из раны на лбу — а когда скользнула над глазами стрела, глубоко содрав кожу, она даже и не заметила. Земля, накрываясь, вдруг вывалила ее куда-то в траву, перекачнула в кусты; потом кустарник вокруг сменился стволами. Долго еще преследовали ее хохот и улюлюканье; они повисали в дневном воздухе, раздавались из ночной темноты; ветви, дергаясь, пугали ее все теми же звуками. Шелудивый пес, бежавший из разгромленного села, привязался к ней и стал ее спутником, видно, не умея остаться без человека. Они шли по лесам, стараясь держаться опушки, но боясь людей больше, чем зверей, — не понимая, куда идут, ночуя в стогах, питаясь тем, что могло дать лето, и все больше дичая; а сколько это длилось дней и ночей — оба сосчитать не умели.

3. Остров

1

Кто спит рядом на мураве, под кустом черемухи, под ягодами в сизой поволоке? Прожилки листьев черны на просвет, вздымаются травы как стоячий лес с чешуей на стволах, цветы распускаются в вышине лепестками круглыми, длинными и заостренными. Красный выпуклый жук блестит, как громадная капля. Из-за стволов, из темной и светлой листвы осторожно смотрят на спящих детские глаза зверей, спасшихся от потопа. Зелень нежных тенями овеивает нагие тела, кузнечик перепрыгивает с живота на живот — лесной карлик с удивленным узким личиком: самец и самка с белой кожей досматривают сны, Адам и Ева, умиротворенные, единственные на траве под небесами, назначенные начать заново людской род. А кто над ними щерит в улыбке два последних стертых клыка, довольный делом рук своих? — спина горбом, подбородок торчком, истлело и почти прилипло к телу платье, а губы все бормочут и бормочут умиленные безумные слова.

Как обратить лесной холм в остров среди воды? Никто на всем свете не знал, одна она, несчастная, ненароком угадала тайну озерных разливов. Угадала и расскажет со временем, только не сразу, привыкните, детки, сперва. Есть травка, серенькая, неприметная, она растет по болотам, одаряет молоком кормилиц, сводит бородавки и предупреждает зачатъе. Но кто ведал, кто знал, что есть у нее еще и другая, особая сила? — если сорвать ее при восходе солнца, смешать с маковым соком (мак должен быть красный, с сердцевинкой опаленной, как уголь), а потом положить все в тряпице под дерн. Через три дня там заведутся белые черви — вот их-то высушить, растолочь в ступке... — но все же лучше про это потом, чтобы не вышло беды с непривычки. А как вернуть разлив в берега? Не знает старуха и знать не хочет, и чтобы не натворить чего случайно, не станет отныне даже делать ничего, не проверенного прежде. И на слова остережется: слова деревья рвут с корнем, слова птиц сшибают на лету. Пусть останется теперь все как есть, неизменно: средь вод земля под лазоревым кровом, и лето, и тепло, и ошалелые дурак с дурой, точно в половодье зайцы, занесенные на кочку.

Она могла бормотать так сама с собой бесконечно, покуда эти двое не просыпались, и заботилась, чтоб сон их был долгим. Пришла наконец отрада и к ней — первая с тех бесконечно далеких времен, когда она выбралась из ямы, закопанная заживо, но, увы, не связанная хорошенько: не позаботились мужики прихватить веревки. У одного была уздечка, и не своя, чужая, присвоенная, да он ее пожалел; она сама, терзаясь от вины и желая скорей все кончить, подсказала им, чтоб прежде оглушили ее чем-нибудь по голове, только не до смерти. Но слишком сухим и легким оказался земной прах, слишком сильна была жизнь в молодом теле. Ей суждено было мучиться еще долго, скитаясь по чужим краям, побираясь, предлагая всюду свои услуги знахарки и повитухи. От горя на теле ее проступила шерсть, лицо стало до времени уродливым; это уродство пугало рожениц, причиняло беременным выкидыш, матери прятали от нее детей, боясь сглаза, а му-

жики прогоняли с побоями. Она ходила с войском и прошла до самых краев земли, где говорят по-русски, готовая принять любого встречного, пусть и задаром, только бы отверз ей замкнутую утробу. Но даже месяцами не видевшие женщин стали брезговать ею, ничто не могло помочь той, что извела когда-то своего первенца и лишила плодородия окрестную землю ради жалкой и сладкой любви.

4

Кружа и петляя сквозь долгие годы, сама собой, по неисповедимым изгибам, дорога наконец привела ее в места, откуда началась, к лесному холму над озером. Здесь было теперь безлюдно, пепелище, оставшееся от избы, густо закрыл иван-чай, липкий цветок забвенья, но полусгнившая банька стояла, и возле нее паслась одичалая, невесть откуда взявшаяся коза с терпеливым старушечьим лицом. Различим был еще и крохотный холмик, закрытый крапивой; на нем посерединке вырастала каждый год одинокая ягода земляника сладости необычайной, но лучше было ее не есть, чтобы не мучиться памятью. Она проросла из пуповины младенца, лежавшего там под землей, и едва касался губ раздавленный алый сок, как начинали шуметь ветви, бормотала листва, тело корчилося от рыданий, трубы трав дудели прямо в уши, как ни закрывай, песню про юную ведьму, не сумевшую вовремя умереть, и вздыхала коза, смотрела с высоты голубым умным взором. «Коза, коза, где ты была?» — «По воду ходила». — «А где же вода?» — «Кони выпили». — «А кони где?» — «В гору ушли». — «А где гора?» — «Червями сточена». — «А черви где?» — «Гуси выклевали». — «А гуси где?» — «В вересняк ушли». — «А где вересняк?» — «Девки выломали». — «А девки-то где?» — «Замуж выскочили». — «А где же мужья?» — «Все примерли».

5

Рассыпан по земле народ, он творит для себя слова и песни, передает в поколениях память, нужную для своего продолжения. Но неровно распределена среди всех эта совокупная сила, редкая сеть в пространстве и времени сходится на ком-то узлами — особым даром, перени-

мать и собирать по крупицам, хранить знание, обогащать и оттачивать его своим, особым пониманием, ставить в связь такое, мимо чего другие проходят, понурясь под повседневным гнетом: цвет заката и перемену ветра, урожай рябины и зимний мороз, медовую росу и падеж скота, позднее цветение садов и гибель их хозяев, смех совы и разрешение от бремени, полет майского жука и безнадежность засухи, крик петуха и завтрашнюю беду, заячий переполох и пожар в деревне, траву, которой отравишься, и корень, которым спасешься, а еще опять же слова, превыше всего слова, доставшиеся в наследство и сложенные заново, слова, дарующие исцеление и любовь, несущие беду и смерть, слова и напевы, чья сила зависит от красоты и ее подтверждает. Старуху мучила мысль, насколько меньше стало бы на земле бед, если бы все знали то, что знала она: в какие дни, например, нельзя шить, чтобы не рождались слепые, а в какие не ищут в голове, чтоб у скотины не было червей; знание давно распирало ее, как больно распирает молоком недоенное вымя — но кому его передать, если боишься людей не меньше, чем они тебя? Вот почему такой надеждой стали для нее эти двое.

6

Ей стоило немалого труда привести в чувство сперва каждого порознь, потом обоих вместе, исцелить одного от дурацкой тошноты, другую от безумного страха, перетолковать пророчества, объяснить, что всякий мужчина царь и всякая женщина царица. Она поила их настоем травы ужак, чей перегнойный корень проясняет зрение, унимает дрожание рук, чистит мочу, но томительно кружит разум; однако главное исцеление оба нашли друг в друге. Просыпались они одурелые, поначалу шарахались друг от друга опять — нужно было все вспоминать заново, и старуха, не всегда зная, как с ними быть, старалась, чтоб они поскорей заснули снова. Справляли свадьбы деревья, травы шептались и пели про красоту цветка мужского и цветка женского, про напряжение и раскрытость, про усталость пахаря, засеявшего ниву, и нивы, принявшей семя, про боль и музыку, изнемогающую нежность смычка и попеременность танца, про невыносимую полноту на острие и в недрах, и про вершину, с которой открывается тайна смерти.

Туман от разлившихся вод по утрам был тепел, как пар, холм высился будто над облаками. Время завязло в густоте воздуха и остановило разгон. Кукушка напролет отсчитывала бессмертие трем нелепым безумцам — они все стояли один другого, как будто не случайно сошлись вместе, и старуха думала: не доброта ли и жалостливость роднит тех, кто слынут среди людей дураками? Скалясь от удовольствия, она отмечала все новые и новые приметы, сулившие бесконечное тепло, вечный разлив и лето. Рога луны были остры и не затуплялись, перед закатом нападала на всех троих неудержимая икота, и в сумерках играли, не уставая, нетопыри — все сходились. Но даже когда оба спали, она не могла отделаться от тревоги. Почему и во сне Иван чесал себя под коленкой, как будто предчувствовал дорогу? И чему смеялся тихим довольным смехом? С тех пор как первый мужчина потянулся от счастья за необязательным плодом, наученный женщиной стремлению, соблазну и невыносимости блаженства, они все рвутся куда-то, оставляя баб печься об устойчивости и основе. Бог с ним, он уже сделал свое простенькое и дурацкое, свое мужское дело, и некуда было ему уйти по водам.

4. Рыбы

1

Никогда прежде не видывали таких рыб в прудах близ Александровой слободы, в окрестных озерах и реках. Шуки уже и не походили на щук: бревнами-топляками они чернели на отмелях, пресыщенные, громадные, страшные, и не шевелились, когда у самых глаз прошмыгивала обнаглевшая мелочишка. А мелочишка — тоже сказать! Окунь равнялись с лещами величиной, а со щуками хищной наглостью, они утаскивали за лапы не то что утят — дурных уток. Птицы же поумней давно не садились на здешние воды, которые сделались черны, перестав отражать синеву небес. Бабы не пускали сюда купаться ребятшек и сами старались не стирать белье в одиночку: не раз они взвизгивали от жути и разбегались, встретив уставленные на них из нездешнего мрака глаза, внима-

тельные, круглые, холодные, — неведомо чьи; так в болезненном сне подступает тупая тяжесть и душит немота беспросветной мучительной жизни, в которую лучше не вглядываться людям. Рыбаки и те с опаской ставили тут сети, но только с лодок, с бреднем же не ходили: слишком знаком был теперь самим рыбам запах и вкус человеческого мяса.

2

Рассказывали, что однажды голодной зимой, когда поверхность вод затвердела, Иван велел созвать в слободу всех нищих, калек и бродяг, всех убогих, слепцов и немощных, всех, кто хочет избавиться от страданий. Таких набралось отовсюду семьсот и еще семь человек, не считая притворщиков, искавших примазаться к чужой удаче. «Ну что, слепые, притворщики, немощные, кликуши? — спросил их Иван, и в горле его клекотало. — Хотите, освобожу вас от голода? Хотите не нуждаться более ни в чем?» И они замычали в бессловесном восторге, что хотят, — еще бы не хотеть! И тянулись в ожидании милостыни растопыренные, скрюченные, земляные, трясущиеся пальцы, обрубки в гнойных тряпицах. Тогда Иван велел вынести всем, не исключая притворщиков, хлебов ржаных и прочей еды вдосталь, а также выкатить пива шесть бочек (по другой же молве дюжину). И осчастливленных, рыгающих, захмелевших на пустой желудок, всех повели на лед ближайшего озера.

3

Слепцы шли, положив руки на плечи зрячим, запрокинув восхищенные лица к белым, как бельма, небесам, каждый пел на свой лад хвалу величию доброты царской, радостный смех исходил из глоток вместе с паром сытого дыхания, и многим пришлось выbleвать от непривычного избытка. Когда же все сгрудились в кучу, стоявшие наготове стрельцы с топорами быстро подрубили вокруг лед. Огромная льдина опускалась под отяжелевшими телами торжественно и медленно, вопли безумного счастья мешались с вороньим граем, и рыбы сквозь студеный полусон зимы тарачили круглые гляделки на плавную сказку погружения. Долго еще передавала молва горделивые слова Ивана о том, как он уменьшил страдание на своей земле.

укоротив число несчастных и оставив больше хлеба едокам полезным. И многие умилялись простоте и решимости, с какой старался государь для общего прокорма, — раз уж земля не родит, хотя немного и сомневались: как творить благочестивое дело и спасти душу милостыней, если не останется нищих? Тревога оказалась напрасной, на развод уцелело вполне достаточно, да в такой громадной стране и не могли дойти руки сразу до всех. А слепцы сложили про это песню, в которой можно было различить нечто вроде зависти, как будто и они были бы не прочь покончить с горем своего существования на том праздничном льду — но пели ее, впрочем, с опаской, вполголоса, может, боясь быть слишком прямо и вообще ложно понятыми; так вскоре песня замолкла, да и молва заглохла сама собой на бессловесном ветру.

4

Чего только не навидались в этих местах рыбы, хранители немоты! Они видели, как человека опускали в воду вниз головой на веревке, а потом поднимали вверх и там допрашивали, где припрятал, собака, утаенные от государя, на том свете все равно не нужные деньги. Злобен оказался устюжанин Томила Шибает, едва вытасканный, едва переведя дух, он вместе с водой выхаркивал из глотки ругательства, понося Ивана и присных его, предков и потомков, и захлебывался с бульканьем вновь, пока не сумел захлебнуться до смерти; вслед его ненужному телу были пущены на корм щукам и двое незадачливых палачей, не сумевших его устеречь. Но эта попытка была еще понятна; а чего пугался человек, которого просто сажали в воду нагим и связанным так, что вода чуть-чуть не захлестывала в запрокинутый рот? Привлеченные духом крови и сладкого гноя из пыточных ран и ожогов, подплывали к нему подводные жители, и бедняга, стерпевший дыбу и клещи, стал вопить от неисповедимого ужаса, когда коснулось его что-то слизистое, нездешнее, а мелкие острые зубы кусанули пальцы ног, примериваясь отхватить клок живой плоти. Вода согрелась от горячего пота, которым он покрылся, крича, что расскажет все. А когда становилась ненужной попытка, длинные медленные тела людей опускались одно за другим ко дну вслед привязанным на веревке камням, и волосы на их головах шевелились, и кружились вокруг рыбы. Они узнали пре-

сыщение; тошно отчего-то становилось и воде. Иные уже отворачивались от жирных даров, искали чего-то нездешнего — и клевали зависшего среди водорослей червя, и сородичи взирали ошеломленно и тупо, как избранница возносилась чудесной силой ввысь.

5

Однажды утром Софрон Завьялко, мужик из ближней деревни Дядьково, принес в Слободу стрелецкому голове Хренову щуку в сажень длиной и с полугодовалого поросенка весом, получив за старание восемь копеек. Но не пришлось попользоваться Хренову рыбкой, даже выпотрошить ее не успел, опередил его с доносом ловчий Благово, которому Хренов неделю назад не захотел продать коня, нашептал кому надо: не по своей-де мерке берет стрелец, рыбка-то явно государева, из государевых, видать, садков. Долго разглядывал Иван диковинную щуку, и все больше казалось ему, что где-то он видел эту заостренную морду и выпученные круглые зенки. А щука вдруг изогнулась, мертвая, в руках державшего ее слуги и уставилась белесыми горошинами на шута, князя Осипа Гвоздева. Тот раскрыл рот, сам задыхаясь, как рыба, желтое пористое лицо его с заостренной бородкой стало бескровно: они со щукой таращились друг на друга, разинув рты, из которых один был беззубый; нельзя было не увидеть, наконец, родственного сходства. В тишине было слышно, как рыба скрежетала зубами, — и тут-то Иван вспомнил.

6

Голову князя Семена Ростовского принесли ему зимой в кожаном мешке. Иван взвесил ее перед собой за волосы в вытянутой руке: лицо заострено к бородке, глаза, такие выпуклые, что веки не натягивались на них до конца, мутно слезились. Он приподнял одно веко пальцем свободной руки, чтобы голова могла увидеть его открытым зрачком и прочувствовать лишний раз унижение дерзости, измены и подлости. Подумать только, как много зла успел натворить князь Семен, особенно после неудачного побега в Литву. Чтобы заслужить прощение и милость, он от страха готов был сделать все, исполнить любой приказ, убить, не разбирая, правого ли, виноватого. Выро-

док, подумал тогда Иван; вслух же сказал: «Ах, голова, голова, много ты крови пролила», — и услышал, как она вдруг заскрежетала зубами. Тогда он, швырнув, наступил на нее ногой и постоял так некоторое время, чувствуя подошвой, как вминается мякоть неживой щеки, как горячее и проникается бодрящими иголками кровь, а потом велел бросить голову в прорубь — и вот ведь, спустя время она еще повеселила его в новом обличье.

7

— Ишь ты,— сказал теперь Иван.— Щука уснула, а зубы-то живы.

И все, кто стоял кругом, поняли, что имел в виду государь не замогильный (жутковатый, по правде сказать) скрежет, а измену, которая с Ростовским не кончилась. Рыбу он велел запечь с яйцом, зеленью и перцем, со всякими привозными пряностями, вместо глаз вставить ей по крупной жемчужине и вечером отослал на золотом блюде в конец стола шуту Гвоздеву, князю Осипу из рода Ростовских. Потеха была смотреть, как извивался обжора, страшась отказать от царского угощенья, — но все проглотил. Стрельца же Иван рассчитал еще прежде. «Мелочишки тебе не хватает? — сказал он ему с усмешкой в бескровное, уже заранее мертвое лицо. — Крупной рыбицы захотелось? Что ж, ступай ешь тех и других». И отправился Хренов вслед за камнем на пиршество, где в лакомство был предназначен он сам, а на пиру встретил и рыбака: подстерегли Софрона Завьялко на дороге ради восьми копеек, оглушили да бросили в то же озеро.

8

На заре Иван, как всегда, полез на колокольню звонить к заутрене своей шутовской монастырской братии. Только сыновей на сей раз не взял с собой, противно ему показалось смотреть с похмелья на их бледные безусые рожи — все равно что глотать сметану. Он всех оставил внизу, поднялся наверх один — долго лез, как во сне, и не чувствовал задышки, — но удивился этому лишь потом, вспоминая. Веревка не сразу далась в трясущиеся руки, било отяжелело, звук долго не начинался. И вдруг Ивану почудилось с высоты, что чего-то не хватает вдали за оградой. Он еще не понял сам охватившей его тревоги: как

будто продолжался предрассветный сон с млечным туманом над травами, и в этом сне исчез отблеск воды в ближнем озере. А было все не могло соприкоснуться с колоколом, он тыркался бессмысленно, заблудившись среди всяких веревок, и никак не умел найти выход к лестнице, а потом, как во сне, куда-то скакал от монастырских ворот, еще не предчувствуя, что увидит.

9

Дно озера было обнажено. У берега на песке судорожно бился чудовищный раздутый ерш с телом прозрачным, как слизь, так что видны были внутренности и несколько проглоченных плотвичек, тоже еще живых, держащихся; пасть его была заткнута недоглотанным хвостом. Водоросли еще держались торчком и шевелились в белых струях тумана. Чисто обглоданный скелет коня стоял, зажатый оглоблями, вытянув шею к бурым подводным травам, из глазниц его шевелил усами черный рак, хвост и грива коня колыхались в восходящих млечных потоках, скользкая тина украшала колесницу зеленью, как для неведомого торжества. А вместо пристяжной держался в упряжи всполошенный красный зверь на паучьих складных ногах, но с хвостом чешуйчатым, острым.

10

Все ползло и двигалось в одну сторону, как будто там было спасение или хотя бы укрытие. Иван с усилием — точно перекаtywал отяжелевший без воды камень — перевел взгляд туда. Раздутые, еще в одежде, тела лежали среди полужансенных илом человеческих костяков, хранивших разгон какого-то внезапного порыва; руки, вытянутые вперед, оторвались от прочих членов, опережая их в устремлении за неведомой подачкой, но мешая друг дружке, как бывает в слишком тесных вратах, застряли косяком под нависшими береговыми камнями. Испарения поднимались со дна, наполняя воздух все новыми видениями. Из-за камней, из пустых черепов, из буро-зеленых водорослей таращились на Ивана слизистые глаза. И без звука завопил Иван, не слыша собственного голоса, чтоб заполнили дно водою хоть из ведер — а наяву ли? И наяву ли погнал коня прочь к Москве, чтобы заглушить несказанный страх — чем-нибудь, чем-нибудь: запоем ли, кровью,

бесчинством, колдовской помощью, богомольным ли покаянием, а может, всем вперемешку? Чем дальше он скакал, тем проще становилось ему уверить себя, что все примерщилось ему с похмелья. Но одно он знал наверняка: что в слободу не вернется, покуда не удостоверят его, что бред кончился.

11

Говорили потом слепцы, что к озеру не подпускали зрячих, чтобы не подсмотрели государевых тайн. Даже попы служили молебны издали — впрочем, без пользы; а кого по глупости или с перепугу послали было выполнять государево слово с ведрами, были обречены, хоть и не знали об этом. Далеко вокруг установился туман, прикрывая страхи, что поднимались из обнажившихся глубин, словно из опасных уголков памяти, куда лучше нам не заглядывать. Выручил немец, горный мастер Франц Вольф, до которого дошла глухая московская молва. Он попросил о встрече с дьяком Кашириным и рассказал ему, что слышал уже о подобном происшествии, когда служил в Каринтии, в герцогстве Крайн. В шести немецких милях от города Лайбиха, объяснил он, имеет быть озеро Циркниц, кое по многу раз на памяти жителей то мелело, то наполнялось водой, так что в иной год там можно было рыбу ловить, а в иной — косить на бывшем дне сено. То озеро, правда, расположено в местности горной, где много пещер, скрытых скважин и ям. Но люди ученые, как, например, Дионисиус Дорус или Помпониус Мела, полагают природу всех вод на земле одинаковой, ибо они связаны недоступными глазу протоками и сливаются где-то внутри земли, так что, погрузившись в одном месте, можно вынырнуть на противоположном конце у антиподов. Причину обмеления, предположил Вольф, следует посему искать в закупорке какого-то подземного русла, питавшего воды.

12

У дьяка хватило ума сперва выслушать немца, а уж потом спросить недоуменно и строго: о чем он вообще говорит? Пристало ли иностранцу слушать, что болтают по кабакам московские ярыжки, которые за такую болтовню заслуживают плетей, да еще повторять, не поняв толком?

Вольф не смутился; он уже знал склонность москвитов делать тайну изо всего, даже из стихийных бедствий, хотя они ведь не во власти правительства и никто не может поставить их ему в вину. Умный дьяк с усмешкой покачал головой, из этой усмешки немец волен был заключить, что, может, у других не все в руках государя, а у нас дело другое. В иные времена Каширин поостерегся бы и докладывать о словах нехристя, полагавшего нашу землю круглой, как яблоко, к тому же проточенное червем, но смрадный запах уже достигал и в Москве до некоторых чутких ноздрей. На всякий случай велено было испытать дно. Зловещий завал растаскивали баграми. Вода прорвалась внезапно, когда нечем уже стало дышать, сама вмиг расширила себе дорогу, отхаркнув последние тела и кости и пополнив счет утопленников теми, кто копошился на дне. А где-то за много верст отсюда, под небесами остановившегося лета отозвалось облегченным вскрипом другое озеро, о котором в Слободе и знать никто не знал. В безветренной тишине вздулся и лопнул на глади огромный пузырь, воды стали убывать и таять. Видно, прав был ученый нехристь: многое в этом мире связано связями подземными, о коих благочестивые люди не подозревают — и слава богу.

5. Острог

1

К вечеру туман поднимался снизу, закрывал острог и дом до конька крыши. Дым от костра насыщал его угаром. Пьяные бродили по двору, ощупывая сумеречную завесу пальцами, внезапно наталкивались друг на друга. Иногда удивленно видели перед собой людей, которых прежде здесь не было; в одном Бестуж узнал медвежатника Нечая, давно покойного, но куда сомневался, окликнуть его или нет, тот осторожно, на ощупь прошел стороной. Вдруг натыкались на стену, на столб — тогда слышался кряхтящий звук гнилой, готовой рухнуть древесины. В туман валились, засыпая, в тумане пробуждались, не сознавая наступившего утра. Днем он опускался, но совсем не исчезал, клубился пеленой над невидимым разливом. В похмельной трезвости все становилось ненадолго откровенным, неузнаваемым, точно женщина, об-

мякшая и распущенная после сна. Друг на друга смотрели опухшие, одурелые, с соломой в нечесанных волосах, в рубахах распояской ниже колен, а кто-то сидел под забором с мучительной улыбкой на восхищенном лице.

2

Тогда становилось видно, что частокол почти обвалился внутрь, опираясь сам на себя, две башни над воротами торчали скворечнями. Под рухнувшим амбаром нашли однажды кого-то задавленного, обезображенного, но не могли ни узнать, ни вспомнить, кто это. Единственное дерево, громадная липа, росло посреди двора, под ней стояла бочка, вокруг которой усаживались пить. Было еще несколько пней, на которых мог раскинуться человек, вид их вызывал зависть к безвозвратным богатырским временам. Зато громадной была трава; местами она разрослась, как лес, выше головы, на почве, унавоженной многолетними пирами и отбросами; таким бывает бурьян в местах, отравленных человеческим присутствием. Все это: трава, бочка, крупные тела коней и маленькие человечки вместе с пустыми небесами — свежо отражалось в прибитом к липе круглом выпуклом зеркале венецианской работы с резной деревянной рамой. Изредка выходя на двор, Маркел Ногтев смотрелся в него, но всегда видел не себя, а скопца Парфена и, мотнув головой, уходил обратно в духоту горницы, где задыхались день и ночь ожирелые свечи, — он пил в одиночестве.

3

А Бестуж не мог отойти от восторга. Вот она была — жизнь! Пить, гулять да дела не знать — чего человеку еще надо? Словно сбывалась наяву сказка о роскоши и веселье, которой он любил подразнить когда-то людей, сам пуская слюну. Запасов хватало; упивались так, что через губу не могли плюнуть, и первое время восхищенно хвастались друг перед другом, кто сколько раз проблевал накануне. За выпивкой, усевшись кругом у бочки, вообще любили рассказывать про былые подвиги, довольно, впрочем, однообразные, хотя случалось услышать и забавное: как в Ямском приказе наловчились брать денег, кормовых и дорожных, за несколько ездов, а развозили грамоты, накопив, за один раз; как кто-то выкрал лошадей из

конюшни, подделав хозяйское письмо и печать. Но веселей всех похвалялся, конечно, Бестуж. Кто надумал краденую корову обуть в сапоги, чтоб по следам не нашли? Он. Кто потешал крестьян песнями про скоморохов, которые шарят по избам и клетям, покуда их товарищ отвлекает хозяев, — а они, простаки, смеялись, не понимая, что это про них? Все он, Бестуж. И не он ли, приметив в одной избе мешок с салом, висевший под коньком, прорыл на крыше солому, но оступился и грохнулся с мешком в сени? — а когда хозяин вышел на шум с огнем, Бестуж сказал ему: «Не надо ли сала?» — и тот ответил: «Нет, у меня своего хватает» — и помог скомороху вскинуть мешок...

4

Эх, так бы только жить, наконец, да жить — если бы не скопец. Он вроде и пил со всеми, но не пьянел, а тяжелел. Впал в немилость верный слуга, Маркел ставил ему в вину упущенную девку, и Бестуж имел неосторожность как-то раз посмеяться над этим случаем. Парфен тогда ничего не ответил, но вечером, в тумане скоморох едва успел отскочить от повалившегося непонятно откуда бревна. Тут бы ему вовремя спохватиться, стать осторожней — слуга и так ревновал, что Ногтев приблизил к себе скомороха, догадавшегося к месту вставить желанное словцо, — но зуд неумемный! Вдруг кто-то кликал скопца голосом Маркела, тот радостно спешил на зов, а потом выходил, словно побитый (но, увы, лишь «словно»), еще более согбенный; длинные узкие губы нехорошо искривлены, пальцы ощупывают рукоять ножа — опасно, ах, опасно шутил Бестуж! По временам в тумане начинала квохтать курица, которую при ясном дне никто не видал, и скоморох кричал Парфену на весь двор, чтобы шел поискать яйца. Можно было лишь догадываться, как неслышно рыщет по двору сутулый скопец с могучими руками горбуна и воина, как прощупывает туман длинным лезвием. Спасался Бестуж лишь тем, что взбирался с вечера на липу — или шел в горницу к Маркелу.

5

Он входил туда, не без опаски поглядывая на прогнившие балки, стараясь ступать помягче. Маркел едва оборачивался, взгляд его был пуст, на макушке малень-

кая тафья из парчи, на ногах мягкие ичетыги; лицо бескровное, рот мятый, точно спросонья. После злосчастной встречи у озера заскучал князь, и Бестуж тщетно пытался его развеселить, предлагая себя в лекари. Это ведь теперь скоморохи стали только потешниками, уверял он, а были когда-то сродни волхвам. Их звали на свадьбы не просто для веселья, а на счастье, ради будущей плодовитости, звали и на похороны, потому что покойнику земля бывает мягче, если провожать его смехом. Он расписывал Маркелу целебные снадобья; составлялись они из мостового белого стука или тонкого блошиного скока да сухого крещенского мороза: добавь, князюшка, рассыпался скоморох, филинова смеху четыре комка, толстого орлова летанья четыре аршина, крупного кошачьего ворчанья шесть золотников, смешай все на сухой толченой воде, да влей девичья молока три капли, вешнего ветра полчетверика, густого медвежьего рыка шестнадцать золотников, да женского плясания, да ладонного плескания, да сердечного прижимания... Но даже не улыбался Маркел, а как доходило до девичьего молока да сердечного прижимания, Бестуж по виду его чувствовал, что дальше, пожалуй, веселить пока князя не стоит.

6

Все эти дни и ночи вынужденного пьяного безделья в голове у Маркела Ногтева роились всевозможные мысли и планы. Вот, например, он предстанет пред государевы очи, упадет в ноги, покается, выскажет давнюю мольбу... — но видения эти осекались в самом начале достаточно страшно. Вдруг он воображал себя самозванцем или грозным могучим атаманом: как уходит в Польшу или на Сечь или просится на службу к туркам; эти мысли заходили подальше, расцвечивались соблазнительными подробностями — но в конечном счете тоже разбивались о злосчастное видение у озера, которе уже начало отсчитывать ему срок. Так он лежал безвольно, не шевеля и пальцем для какого бы то ни было дела. До него будто только теперь дошло, что дальше нет ничего и быть не может. Разлив, перекрывший дороги, замывший следы, лишь оттягивал неизбежный конец. Человек иного склада мог бы себе сказать, что вся наша жизнь есть оттяжка перед неизбежным, дело лишь в сроке, а думать о нем наперед — не наша забота. Но болен был Маркел Ногтев, не при-

нимал и скоморошских снадобий. Бестуж уходил от него со вздохом, опасливо замирал на каждом шагу, боясь услышать рядом в тумане натужное дыхание скопца, на ощупь добирался до липы и, лишь пристроясь на ветвях, успокаивался. Ночь опускалась, наваливалась на людей душным задом. Где-то квохтала курица, все более отчаянно, как будто вот-вот снесет яйцо. Это всегда оказывалось обманом, да и петуха на дворе не было, но квохтанье заставляло чего-то ждать, и после таких стараний — не золотого ли яичка? Бестуж усмехался; утвердившись на липе так, чтобы не упасть во сне, он предавался раздумьям, не столь веселым, как хотелось бы.

7

Уже седина в бороде и темечко оголилось, говорил он себе сам. Другие к твоим годам хозяйством обзавелись, а то и торговлишкой. А у тебя всего добра — горница, светом огороженная, небом покрытая, а посуды медной — крест да пуговица, а рогатой скотины — вошь да жужелица... Нет, конечно, оставался у него и дом в Торопце, и семья, жена. Бестуж любил расписывать слушателям, какая у него раскрасавица: из лохани брана, помелом нарисована, в окно глянет — конь прынет, на двор выйдет — собаки три дня лают. И когда он наговаривал такое на нее, на самого себя, то сам себе верил, и смеялся с другими, и головой мотал от горя и жалости к себе. Хотя была баба как баба, а если ругалась с ним, когда возвращался изредка, — то как и не ругать такого муженька. Он сам себе знал цену. Зуд сидел у него в руках, в ногах, не давал заниматься спокойным делом на месте, тянул в дорогу, зуд сидел и в языке; ради красного словца он не только жены не жалел — самого себя. И ведь сколько наплел себе во вред — грязненький, пьяненький, лихой, с красной, как из бани, рожей; если подумать, всю жизнь себе загубил своим же языком!

8

Началось с пирушки у губного старосты Микиты Козинского. Были там губной дьячок Степка Антропов, губной целовальник Ишук Акулин да он, и не для увеселения других, а на равных, как гость за столом. Чтобы показать себя перед прочими, Бестуж стал говорить, как ценит его

боярин, воевода Трушин, которому он приносил каждый год со своего промысла полсотни рублей — да и самому кое-что остается. Он даже намекнул на кубышку с тремястами рублями, будто бы зарытую в потайном месте, и когда дьячок Степка попросил его передать через стол капусты, свысока ответил: «Сам возьми». Тот ругнул его матерно, Бестуж обозвал его бездельником, Антропов обиделся: «Я не бездельник, я у государева дела». А целовальник спьяну не разобрал: «За тобой государево дело?» Это уже была не шутка, это могло значить, что дьячку была известна тайна о некоем заговоре. Слово за слово — потащили обоих к Трушину. Антропов отделался быстро, вымучили с него два алтына и отпустили с миром, но за Бестужа взялись всерьез: очень рассердил боярина донос о припрятанной кубышке. «Это же сколько ты мне не додал?» — кричал он, и даже порты ходили на нем ходуном от злости и жадности.

9

Напрасно божился скоморох, что наврал, прихвастнул спьяну; теперь хоть вырви болтливый язык — было поздно. Каждое утро его выводили на торговую площадь, били по икрам батогами, и народ насмешничал над ним. Приходила поглазеть на правеж и жена с сыновьями, все трое на одно лицо, белоглазые, с белыми ресницами, с тупым равнодушным взглядом. Жена поносила его вместе с прочими, а улучив возможность, шептала: нам-то хоть скажи где, перепрячем. Бестуж отвечал, что нечего перепрячивать, но голос у него был уклончивый: уж очень обидно и глупо было сознаваться теперь, что страдаешь совсем ни за что. Скоро ноги его стали так разбиты, что в тюрьму его волокли волоком, стоять он не мог, а недельщики, боярские люди, измывались над ним как хотели: и за девуку он у них был, и за мужика, и петь заставляли. Наконец, не выдержав, он попробовал повеситься на цепях, в которых его держали, но сорвался и только вывернул шею. Боярин сначала велел железа укоротить, чтоб впредь не мог убиться, потом, подумав, рассчитал, что с мертвого, да и с болезного проку не будет вовсе, и решил пока скомороха отпустить, однако долга ему не простил и оброк увеличил вдвое. Дома отлежаться Бестужу не удалось, жена выгнала, едва он смог стать на ноги, и велела без денег не возвращаться. Он сам за это время успел так

поверить, будто терпит ради припрятанного добра, что первым делом пошел к месту, где в мыслях зарыл кубышку, и, ничего не найдя, огорчился: украли.

10

Ни о какой мести тогда он и не помышлял; возможно ли было мстить боярину? Он пристал вначале к большой ватаге, где игроков было всего четверо, остальные — нищелюбы, слепцы, паломники, шальной ненадежный люд. Они ходили по деревням, как тати, насильно ели, пили, грабили, разбивали по дороге встречных. Потом скоморохи отделились. Первым решил обособиться Нечай, медвежий вожак. Он был уже стар, а когда-то забавлял медвежьими боями самого государя. Все лицо и тело его было в рубцах, дважды медведь его ломал; третий сумел победить, не изувечив: он вырвал у Нечая рогатину и переломил, словно человек; его же самого не тронул. После этого Нечай отпросился с государственной службы и в награду выговорил этого медведя. Он относился к нему как к человеку, хотя считал лучше людей, даже пытался расчесывать гребнем облезлую шерсть, на что медведь смотрел как будто с усмешкой. Хотя в губу его было продето кольцо, носил он его как украшение. Никому и в голову не пришло бы водить его на цепи. От старости он и впрямь стал так похож на человека, что становился на четвереньки только если случалось выпить. Пил он тоже как человек, но никогда не буянил, сырого мяса не ел. Он презирал скоморохов за воровство, за скуку обмана, еще больше — крестьян за их унылый труд и в новой ватаге стал незаметно за главного: сам выбирал дорогу, а если куда не считал нужным идти, заставить его не мог бы никто.

11

Подобно другим скоморошьим зверям он тоже умел и плясать, и передразнивать повадки людей. Но Нечай пошлой работой его не утруждал. Он уверял, что зверь этот особый, он может лечить от многих хворей, особенно же от бесплодия и прострела в пояснице; для этого надо было, чтобы медведь потоптался на спине больного. Помет же его, как уверял Нечай, оберегал избу от пожара. Между прочим, не во всякой деревне медведь еще и щедрился на помет, хорошо умел различать, где побогаче. Стоило ему для начала пройти по двум-трем избам, как

из других сами приходили звать, несли хоть копейку, хоть несколько яиц; тех, кто не нес, заставляли соседи, поскольку пожар — дело общее и никому не хотелось гореть из-за одного-двух скупцов. Случалось, медведь сам отказывался войти в избу, пятился от порога с ревом. «Нечисто дело, — объяснял хозяину Нечай. — Прах мертвецов зарыт под твоим порогом». По его совету хозяин выкладывал на приступочку серебряный рубль, забивал черную курицу, голову закапывал у порога, остальное отдавал жожаку; лишь тогда медведь успокаивался, заходил, садился, как человек, на лавку. «Захвораешь, — говорил хозяину Нечай, — полежи на этой лавке: как рукой снимет». Тем, кто не скупился, медведь оставлял помет и в сарае. «Смотри, не выбрасывай его, — объяснял жожак, — будешь и с хлебом, и со скотиной». И хозяин запирали сарай на замок, словно амбар, и грозил кулаком соседям: «Попробуй кто выкинуть — убью!»

12

А с боярином Трушиным судьба вновь свела скомороха случайно. Они пришли под вечер в пригородную слободу и узнали, что воевода уже месяц как прибыл сюда на кормление. Он успел чуть ли не полгорода вывести на правез за то, что не доглядели за наместничьим двором, дали ему развалиться, но никто не знал, какими деньгами он удовольствуется. Он запретил попам венчать без платы, ввел налог за пиво и квас, придумывал что ни день все новые поборы. Посылали в Москву челобитчиков, но ответа пока не дождались. Разговор происходил на постоялом дворе, народу было много, все успели угоститься, включая медведя, и дернуло Бестужа вдруг за язык обмолвиться, будто он знает наверняка: от царя из Москвы уже шла сюда грамота с управой на кормленщика, да боярские люди перехватили гонца по дороге, убили и сказали, что это разбойники. Говорил он по обыкновению так, будто сам встречал гонца на дороге и чуть ли не был свидетелем убийства. Да никто и не думал его проверять. Народу откуда-то стало прибавляться, Бестуж разошелся, стал врать, будто, по слухам, в Москве недели три назад была смута, побили многих бояр — не чета Трушину, и будто царь сам потом одобрил расправу. Но все бы ничего, если б не вмешался какой-то попик, не раскричался на скоморохов: дескать, воры они и смутьяны, их давно не ве-

лено никуда пускать, равно как волхвов, разбойников и баб ворожей, если же где появятся, велено их грабить и гнать.

13

С крикуном расправились славно: привязали вожжи к дуге, подожгли на телеге сено, и ушастый меринок, обратясь вдруг в юного жеребца, понес его по дороге, по рытвинам в город. Скоморохи улюлюкали, Бестуж вскочил верхом на медведя, даже пронесся на нем для острости еще малость вдогонку. Он не сразу заметил, что за ним тронулась целая толпа; открывались ворота, выходили, всполошенные, с огнями, откуда-то, совсем близко, грохнул пищальный выстрел. Бестуж опомнился, повернул ошалелого медведя назад; потом ватага поскорей убралась от греха подальше. Они так и не узнали, как сгорела в ту ночь губная изба с крепостными, купчими грамотами, кабалами на беглых холопов, как боярин, пьяный, в панцире, но без шлема, выскочил со двора на шум и едва не был затоптан, как разгромили лавки торговых людей. Но уже утром на лесной дороге вдруг зашатался медведь и упал. Лишь тут углядели на его груди рану; пулю от единственного шального выстрела нашли в мясе потом. Он умер к вечеру — не скажешь: издох. Нечай поцеловал его в неживые губы — в черные кожаные губы, где в уголках пузырилась розовая, как у человека, кровь. Он не вымолвил ни слова, когда свеживали тушу, но мясо есть не стал, и Бестуж почему-то стал врать, как его накормили однажды, не сказав, человечинной — и ничего; а если бы знал! Можно было подумать, что именно эти слова его погубили — вдруг накиннулись на него, озверев; а пришел он в себя, когда его, полумертвого, подобрал на лесной опушке Маркел Ногтев.

14

Теперь он прятался на дереве от мстительного скопца, чьи узкие кривые губы не умели даже складываться в улыбку. Господи, думал Бестуж, откуда столько злобы в человеке ущербном. В черном тумане среди ветвей пролетала иногда курица в красно-золотых светящихся перьях, но с рыбьим хвостом. Она уже не кудахтала: обманом, обманом оказывались золотые яйца, новой тос-

кой оборачивалось пьяное веселое житье. Чего всегда хочется? Дышать. А еще? Ничего не делать. Так казалось когда-то, а выходило — нет. Бестуж задремывал, ему виделось что-то давнее, щемящее: как ночью на Троицкую субботу приходят на деревенское кладбище поминальщики стенать и плакать — и скоморохи с ними. Начинали подыгрывать на дудках, все звучней, все залиvistей, потом вступали бубны, незаметно плач переходил в пение, все более разнузданное, беспамятное. Люди скакали среди могил, плясали, плескали в ладоши, вскидывали колени, шли вприсядку — и натирались против сердца надгробной землей, чтобы слишком не тосковать о своих покойниках. А среди криков, музыки, среди неистовых голосов кто-то валился на траву за дальними холмиками с крестами из дерева, и чьи-то пальцы загребали в сладкой судороге стебли, выросшие из родительского праха.

15

Утром Бестуж поймал в печи сома — он приплыл по туманной сырости и лежал среди остывшей золы на яйцах, вбирал жабрами водяной воздух. Скоморох выволок усатого во двор, а за яйцами стал кликать Парфена. В ответ не раздалось ни звука, ни смеха, ни топота; опасная тишина замерла над двором. Бестуж привычно затаился, стал прислушиваться, вглядываться в белесь, и прежде чем туман поредел, он уже понял, что двор пуст. В частоколе, как в щербатом рту, светилась прореха — куда-то исчезли ворота. Не успел он это осознать, как весь забор повалился с грохотом внутрь, будто лишь густой воздух еще помогал ему держаться. Открылись вокруг холмы. Внизу, по облакам, прикрывавшим воду, на воротах — огромных, изъеденных червем и оттого непотопляемо-воздушных —плыли беглецы, отталкиваясь шестами, по четверо на каждой створке, и с ними лошади. Тут Бестуж услышал недалеке мычание и нашел скопца, связанного, с кляпом во рту. Лишь их двоих, близких Ногтева, не взяли в побег — на поиски другого счастья. Скоморох вынул кляп. Мелкие зубы на мучнистом лице оскалились, но прежде чем Парфен успел сказать слово, Бестуж засунул ему кляп обратно. Что поделаешь, оставаться с ним во дворе один на один было теперь нельзя. Он напоследок напомнил скопцу про сомовьи яйца, собрал наскоро мешок и пошел прочь от острога, сам не зная куда.

Пока он спускался с холма, туман совсем пропал. Издалека донесся громкий всхлип, как будто лопнул пузырь. Стоячая вода вдруг тронулась. Бестуж, не понимая, смотрел, как мимо пронеслись, все убыстряя движение, клочья сена, похожие на птичьи гнезда. В одном гнезде стоял болотный кулик на тонких ножках. Его поднесло поближе, и Бестуж увидел, что это не гнездо, а шапка. Она плыла вверх околom, медленно кружась среди воды, то приближаясь к скомороху, то удаляясь. Бестуж поискал поблизости палку, чтобы подогнать ее, если подплывет ближе, и тут увидел на другой стороне воды человека, совсем нагого, с юной бородкой. Он шел к шапке вброд, держа в руках одежду. Бестуж загорелся, раскисшая шапка вдруг зачем-то стала ему нужна. Он поскорей закатал порты, разулся и поспешил навстречу. Воды оставалось ему все время лишь по колено, словно каждым шагом он отгонял ее вместе со стайкой мальков. Кулик завертел головой на одного, на другого и понял, что гнезда у него тут не получится. Когда двое с разных сторон одновременно схватились за шапку, она уже лежала на открывшейся донной траве, бурой и гнилой, как водоросли.

6. Иностранцы

1

Великий князь Московский, называвший себя царем, восседал за столом на возвышении. Золоченый двуглавый орел на спинке резного кресла растопыривал над его шапкой перья. Шапка была вроде греческой, ее украшал рубин величиной с яйцо; рядом на скамье лежали короны, еще более драгоценные. Одежда узорной парчи усыпана была камнями, большой нагрудный крест висел на золотой цепи, роскошное ожерелье украшено финифтевыми изображениями русских святых. «Я ничего подобного не видел, — сказал Джером секретарю миссии, сидевшему рядом. — Ни у герцога Тосканского, ни у французского короля». — «Ни у самого Максимилиана, великого императора», — дополнил, соглашаясь, секретарь. «Но знаете, что поражает больше камней, больше блеска одежд? Величие его осанки, вид неприступного достоинства». —

«Это первое, неполное впечатление, ваша милость. У него очаровательная улыбка и прекрасная речь. Я беседовал с ним дважды запросто — познания Ивана изумляют не менее, чем его живость». — «Да?» — «О! Он может рассуждать обо всем: о Юлии Цезаре, о Навуходоносоре, об Александре Македонском, о кругах солнца. Даже о Лютеровом богословии, причем весьма любопытно. А иногда просто блистательно. Пожалуй, этого государя еще не оценили в Европе. А ведь он привел к устойчивости такую громадную страну».

2

Два русских дворянина с салфетками на плечах держали каждый по золотой чаше, украшенной жемчугом и камнями. Это были личные чаши великого князя. Он крестился, выпивал их одним махом, и все при этом каждый раз вставали. «Как он пьет, Джакомо! Ты видел? А эти лица — посмотри, до глаз закрытые бородой, неотличимые одно от другого... Нет, недаром я стремился на Восток! Здесь кровь бежит горячей и быстрее, здесь пахнет зверем». — «Какие массивные блюда!» — «О да, мин хер, сервировка роскошная. И ведь на золоте подают не только Ивану — всем». — «Некоторые кубки я бы оценил на вид не меньше, чем в пятьсот талеров». — «Пожалуй». — «А сегодня обедает человек двести». — «Пожалуй». — «И как много иностранцев. Я, признаться, не ожидал». — «Вон за тем столом Брандт, посланник курфюрста Саксонского, рядом фразцузская миссия, они здесь проездом в Китай, это, кажется, итальянские купцы. Англичан вы знаете сами. Обратите внимание, Иван рассылает им от себя угощение. Я удивляюсь, как он помнит по именам такое множество людей».

3

«Как называется река, на которой стоит крепость?» — «Москва, милорд, как и сама столица. Она течет на восток, в Татарию». — «А! Мне говорили, толщина стен там восемнадцать футов. На вид не похоже». — «Не могу сказать. Проверить трудно». — «Почему?» — «Не пускают. Должен вас предупредить: москвиты столь любезны, что не захотят оставить вас без провожатых». — «А!» — «Замок вы, впрочем, еще посмотрите, он особого интереса не пред-

ставляет. Главная сила московитского государя не в крепостях». — «Да?» — «И тем более не в оружии». — «В чем же?» — «В людях, которыми он правит». — «Сударь, вы, как я могу понять, англичанин? Не купите ли у меня эту китайскую травку?» — «Травку?» — «Она вызывает рвоту и помогает много пить, оставаясь трезвым». — «Благодарю, сударь, я не собираюсь напиваться». — «Вы не собираетесь! Ха! Я вижу, вы первый раз на пиру у царя Ивана! Хорошо, если своими ногами доберетесь домой. И следите за языком, если у вас есть секреты». — «Что вы хотите сказать?» — «А то, что вы останетесь здесь трезвым, только если вам позволят. Если московиты не обратят на вас внимания. Но если обратят — попробуйте отвертеться!»

4

«В чем-то, Джакомо, я, пожалуй, разочарован. В Европе столько толкуют о здешних жестокостях — я пока не видал ничего особенного. Несколько виселиц у крепостного рва — для разбойников. И это после того, что я нагляделся дорогой во Фландрии — да где угодно! Может, еще увижу. Мне рассказывали, как недавно Иван рассердился на своего шурина, черкеса, и привязал к его воротам по дикому медведю. Бедняга несколько дней не мог выйти из дома. Представляю это зрелище! Жаль, я не застал... Что ты пьешь?» — «Вино. Похоже на кьянти, хотя весьма отдаленно. Но я соскучился по нашим винам». — «Попробуй лучше этот напиток, он называется мед. А из чего делается, не пойму. Меня, Джакомо, вдруг затошнило от наших яств, от флорентийской роскоши, разговоров об искусстве, о Банделло и Микеланджело». — «Банделло, Микеланджело... Как странно слышать здесь эти имена. И наверно, гремят уже десятки новых». — «Сотни, одно другого новей. Ты скоро будешь дома, увидишь. Но мне все это начало вдруг казаться игрой, изящной, утонченной, необязательной. Попахивает сладкой гнилью слишком зрелого и уже подопревающего плода...»

5

«А правду ли говорят, что Иван каждый день снимает с себя это роскошное платье и надевает монашеский клобук?» — «Говорят». — «Что он сам звонит к заутрене, чи-

тает молитвы, неделями постится и даже истязает себя?» — «Говорят». — «Что-то есть во всем этом удивительное, право. У меня нейдет из ума эта история: как он пригрозил уйти — и все стали умолять, чтобы вернулся. И согласились одобрить наперед все будущие расправы и казни. Хотя он, говорят, и прежде не был на них скуп. А? Помнишь ли ты другой пример такой преданности людей руке, их бьющей? Я не знаю подробностей, но, думается, не в них дело. Даже не в риске, не в изумительном расчете. Такое торжество никаким расчетом до конца не объяснишь. Когда слегка пьян, как сейчас, особенно ясно чувствуешь, что в делах сообществ людских куда меньше, чем кажется, зависит от отдельного разума и воли. Даже если это разум и воля такого властителя. Не криви губы, мы привыкли рассуждать о власти брезгливо, мы, жалкие и немощные последыши гуманистов. Мы не представляем иной свободы, кроме соперничества отдельных своекорыстных воль. И вот глядим бессильно, как христианский мир погрязает в безумии, теряет остатки единства. Послушай, что я хочу сказать: может быть, здесь еще способны чувствовать себя... не членами даже, но как бы частями некоего общего тела, понимаешь? У нас таким телом обещала быть церковь — увы! Здесь сама церковь лишена отдельной силы, и каждый сам по себе лишен. Но то-то и оно... то-то и оно... Мы говорим: честь, мы говорим: права. А тут, может, взамен более важное... другая свобода... когда пьян, особенно это чувствуешь, да выразить трудно...»

6

На иноземцах Иван отдыхал душой. Их безбородые лица, хоть и слишком похожие одно на другое, казались ему откровенней и чистосердечней. Тут если враги — так хоть знаешь, что враги. Ему казалось, что и они понимают его лучше своих. Их восхищение, которое он чутко ловил, было ему приятней, потому что шло не от раболепия и не от страха. Конечно, те, кто переходил на русскую службу, уже отчасти равнялись со своими, татары и вообще бусурмане были не в счет, даже поляки, шведы, литовцы. Но чем более издалека прибывал иностранец, тем более готов был Иван чувствовать к нему расположение. Разумеется, если бывал в духе, а его как раз очень развеселил подарок, полученный утром от саксонского

курфюрста: золоченой бронзы часы в виде колесницы, запряженной слоном. На колеснице возлежал Бахус — языческий бог вина и веселья. Он вращал круглыми глазками, шевелил челюстью и поднимал руку с бокалом. На голове его сидела птица и клевала Бахуса в темя. Звонарь за его спиной бил в колокол, пять воинов ходили вокруг колокола дозором, возница на слоне вскидывал хлыст, а слон тоже крутил зрачками и продвигался вперед. Иван долго не мог оторваться от игрушки, глаза у него блестели, как у ребенка. Да, он был хорошо настроен в тот день и на пиру милостиво беседовал с иностранцами. Надо было утверждать величие страны даже видом своим, каждым шагом, повадкой, обычаем, продуманным до мелочей. Умение показать себя значило иногда больше, чем угроза оружием. И не зря же для больших казней выкраивалось время, когда на Москве не было важных посольств.

7

— Что? — устремлял он на собеседника желтые глаза, такие нечеловечески пронизательные, сверлящие, что взор сам отворачивался от них, скользил вниз, к нагрудному кресту с вделанным образком; но не смотреть в глаза тоже было нельзя: непристойно и подозрительно; взгляд опять накалывался на колючий шип, становясь поневоле бегающим. — У вас небось говорят про меня, что я зол? Да, я зол. Но спросите, на кого я зол? Кто против меня зол, на того я зол.

Он долго затем рассказывал, как перехватили лазутчика от польского короля к боярам, как он было разгневался, узнав поименно участников заговора, а потом решил не придавать значения козням: Жигимонт хитер, вдруг он решил нарочно вызвать подозрения, погубить ради своей выгоды русских воевод.

— Вот так-то, — заключил он, довольный своей речью. — Не всегда и я зол. Кто ко мне добр, тому я не пожалю вот эту цепь с себя снять. Платье вот это с себя отдам. Все до последнего.

В голосе его появился клекот; кожа под бородой заходила, как у ящерицы. Толмачи, не поспевая, переводили поспешно и вкратце.

— Государь и царь преславный, — осмелился вставить из-за спины Ивана рыжебородый придворный. — Казна твоя не убога, найдешь, чем подарить.

Иван обернулся к нему резко, на лбу напряглась глубокая складка, потом расслабилась.

— Да уж... кое-что найдется! — усмехнулся он, решив не гневаться на дерзкое, но притом уместное вмешательство.

Он был доволен и стал говорить про то, что многие насилия и бесчинства творят разбойники, переодевшись в опричное платье, но что скоро их всех переловят, он уже послал отряды. Рыжебородый за его спиной щурил заплаканные глазки, серебряные длинные застёжки светлели поперек кафтана, как ребра, а иноземцы дивились его лицу, бледному, толстому, ночному, цвета проростка в погребке.

8

«Кто это?» — «Его зовут Малюта». — «Малюта?» — «То есть по-русски маленький. Так матери нежно здесь называют младших и любимых сыновей». — «Какое лицо! Он посмотрел на меня, и мне показалось: свинья. Потом отвел взгляд, и я увидел: мертвец». — «Вы близки к истине, это служитель застенка». — «Так все-таки правда, что говорят о здешних жестокостях и пытках?» — «Я, кажется, готов в это верить. Смотрите, несут еще еды. Целый кремль из сахара. Это уже невозможно... Сударь... эй, милорд, или как вас? Я не помню, на каком языке вы понимаете. Вы говорили про травку». — «Что?» — «Китайская травка, вы предлагали мне. Сколько она стоит?» — «А! Миллион фунтов, у меня не осталось ни корешка. Я все оптом продал русским боярам». — «О, дьявол!» — «Может, у них и сохранился дух, утраченный у нас, с нашими святыми и мадоннами, сытыми, роскошными, как мы сами?» — «Это больше закона, больше чести и права, больше искусства и богатства». — «А вы видели, как изменились лица бояр, когда он посмотрел на них и заговорил об измене? Все стали меньше ростом». — «Я смотрю на орла». — «На орла?» — «Да, который над царским креслом. Гляньте, вот опять — он вытянул правую шею и клюнул с пирога орех». — «Это Иван протянул руку». — «Ну как же! Вот опять. А вторая голова стала клеваться». — «Странно». — «Что странно?» — «Они дерутся, хотя брюхо у них общее. Кстати, почему русский орел двуглавый?» — «Это означает раздел государства на оприш... не могу выговорить слово и... как ее...» — «Глупости. Это древний

символ византийских императоров». — «Да? Опять вы. Если вы так хорошо все здесь знаете, скажите, где здесь можно облегчиться?» — «Не понимаю». — «Вы, кажется, говорили по-английски? Или вы француз? Как это спросить? Облегчить себя, понимаете?» — «А! Попробуйте выйти на крыльцо. Если удастся, конечно».

7. Скопец

1

В нагом юноше с мягкой порослью на щеках трудно было узнать дурака Ивана. Беспамятный же узнал скomorоха сразу; но он никогда еще не встречал человека спустя столь долгий срок и был сбит с толку переменами, которые совершает в нем время: сединой в бороде, морщинами, искривленной шеей. Они дергали раскисшую шапку каждый к себе, грозя ее разодрать, Бестуж для забавы, дурак отчаянно. Вдруг Иван засмеялся, и Бестуж узнал этот смех. Он долго не мог прийти в себя от восторга, мотал головой, хохотал, приседал, хлопал себя по бедрам, тыкал дурака в плечо, в голый живот. Тот увертывался, заслонялся смущенно, мял в руках одежду, и Бестуж наконец заметил, что Иван держит себя как-то странно. Казалось, он не прочь поскорей попрощаться с давним знакомцем, уединиться или хотя бы прикрыть наготу, но старался не подать вида, просто пережидал, пока его оставят в покое; впрочем, разок-другой оглянулся куда-то назад. Он как будто что-то оставил там, что-то скрывал и боялся выдать. На такие вещи скomorох был чуток, не дураку было его провести.

— Ты откуда тут взялся нагой? — спросил он. Беспамятный замаялся, и скomorоху опять стало смешно. — Ишь покраснел! А почему ты узнал, что нагой? — насмешливо спросил он словно господь Адама, которому баба дала вкусить от запретного яблока. Какая-то догадка шевельнулась в уме, но поймать ее Бестуж не успел: тяжелое тело обрушилось на него сверху, с косогора, и он ощутил у горла холодное острие.

2

Догнал, настиг беглеца Парфен по следу, как зверя, недалеко ушел скomorох, рано остановился; довелось испытать ему наконец хватку длинных, как рачьи клешни,

рук. Маркел стоял тут же, тяжело дыша после бега, — в домашних ичетыгах, с тафьей на маковке. Белая рука в перстнях казалась по-девичьи маленькой, но сабля дергалась в ней опасно, судорожно. Бестужа с дураком связали спинами друг к другу, бросили наземь, в лужу, оставшуюся от разлива; скоморох изворачивался, дергался под приставленным к горлу ножом, не замечая, что едва не топит Ивана, окунает его в воду лицом.

— Да князь! Маркел... князюшка! — хрипел он. — Нечто я убегал? Я для тебя хотел... Убери нож, скопец, дай сказать! Князюшка!.. Вели ему, чтоб не тыркал, я тебе что скажу...

Ногтев дал знак саблей, Парфен одной рукой поднял обоих за веревки и так, связанных спинами, погнал наверх к острогу. Один шел лицом вперед, другой пятился; Иван все держал в одной руке одежду, в другой шапку. Оказываясь к Маркелу лицом, Бестуж все пробовал что-то объяснить, хрипя и брызжа слюной. Веревка туго вжималась в шею. Ногтев знаком сабли обрывал его. Лицо князя было дурное, похмельное. Чувствовал скоморох: Маркел еще сам не решил, что с ними делать, — и в этом была надежда на спасение. Продолжалась пьяная невятица. Во дворе скопец связал им ноги, а руки освободил, отделил друг от друга и пихнул на вытопанную траву под липой, возле бочки. Посуду Ногтев вынес из дома сам — все остальное утащили, украли неверные слуги. Парфен постелил ему кошму рядом с пленниками.

— Пейте, — сказал Маркел.

3

Никогда прежде не вкушал Иван этой жгучей и горькой водицы; он не мог связать с ней кружение, теплоту, легкость и желание говорить. С дерева смотрел на него блестящий выпуклый глаз, в нем среди яркой зелени отражались четыре человека, один из них был нагой; и когда Иван спросил, что это, Маркел Ногтев, покачавшись всем телом, подтвердил его догадку: «Божье око». Дурак засмеялся, но почувствовал себя смущенным; ему показалось, что этим глазом может видеть его старуха, не велевшая ему никуда уходить. Он попробовал натянуть порты через связанные ноги, однако не смог и засмеялся опять. Он по-прежнему не понимал, что случилось, почему накиннулись

на него, зачем приволокли сюда и когда отпустят, но сейчас об этом и не заботился. Первоначальный испуг прошел, растворился в легкости воздуха, оставалась лишь осторожность, и на вопрос о себе он ответил с привычной готовностью: «Дурак я. Ивашка-дурак». Потом его снова разобрал смех, захотелось похвастаться правдой. «Слышь? Царь я», — проронил он как бы мимоходом и замер, даже на всякий случай втянул голову в плечи, не зная, как будет встречено такое признание. Как ни странно, никто этому не удивился, только Ногтев тупо взглянул заплывшими глазками, а Бестуж сказал, подмигнув в сторону: «Царь правит и воюет. А ты почему не правишь? Почему не воюешь?» Иван попробовал объяснить старухиними словами, что царь — это совсем другое, но не смог. Язык заплетался, когда он пробовал говорить про счастливое устройство жизни, про любовь и восхищение, ветер овеивал лицо, хотелось все время смеяться. Длинный человеческий глаз в ресницах висел теперь среди воздуха. Бестуж, придвинувшись по траве задом, что-то шептал на ухо Маркелу, показывая рукой на дальние холмы, в сторону, откуда вышел Иван. Ногтев слушал с тем же тупым выражением на опухшем лице, только дернется вдруг голая губка, оскалится пара белых резцов — сейчас вскочит кикимора, кувырнется, пойдет бочком. Все кренилось, облака скользили по небесам вниз, нависала древесная крона, и листва шумела о счастье и легкости.

4

Он не заметил, когда они остались втроем. Бестуж пил теперь один. Ветер ерошил его редкие волосы, в уголке распухшей губы запеклась кровь, багровая полоса загара казалась черной в разодранном вороте рубахи. Захмелеть дальше скомороху не удавалось, вместо этого загустевала тоска, ныла у сердца. Просто было Адаму в раю не ведать добра и зла. Все начинается, когда двоим понадобится одно и то же, чего поделить нельзя. Бестуж не знал, верна ли его догадка, но она единственная могла расшевелить Ногтева, а его самого спасти от рук Парфена. Если б только Маркел прихватил с собой скопца! «Свяжи, не убежим, — умолял скоморох, щекоча ухо Ногтева, и пробовал подмигнуть: — Он ведь тебе не помеха. Глядишь, еще и поможет. А без тебя ведь зарежет, князюшка!» — «Не зарежет», — отвечал без усмешки Маркел и мизинцем

прочистил ухо... Тикала в висках кровь, дурак улыбался блаженной улыбкой, стискивал ладонями голову, которая норовила провалиться между плеч, словно в кисель. Солнце совершало по небу свой круг. Сутулый Парфен безмолвно сторожил за спиной, рука его, держащая нож, опускалась ниже колен... Маркел возвращался; показалась над холмом сперва его голова, потом плечи, наконец весь он. Левая щека князя была разодрана словно чьими-то когтями, кафтан в бурых пятнах, саблю он забыл упрятать в ножны, и было видно, что она протерта насвежо травой. «Говорил, возьми скопца в помощники», — по привычке хотел съерничать Бестуж, но не повернулся язык, примерз к глотке от тоскливого ужаса. Захотелось уткнуть дурака глупой рожей в траву, чтоб не видел всего этого. Иван смотрел, однако, в другую сторону, все еще стискивая уши ладонями. Бестуж обратил взгляд туда же и вздрогнул. Там снижалось, становилось огромным солнце, и в том месте, где оно коснулось верхушек деревьев, на опушку выезжал конный отряд. Красные лучи озарили сзади черных всадников и черных коней. Иван попытался встать, как стреноженная лошадь, но руки были заняты, и он не мог себе помочь. Непонятная еще тревога больно уколола его. В невесомом воздухе роились толкунцы. Стояла тишина, какая бывает только на закате, и все же Ивану пришлось трижды повторить свою просьбу, пока его услышали. Он обращался все время к Парфену, по дурацкому своему разумению считая его старшим; но плешивый, без шапки, раб смотрел на солнце остановившимися глазами и сам, казалось, окаменел. На третий раз Беспамятный повернулся к Маркелу.

— Разду... распутай меня, — попросил он и улыбнулся, как будто оправдываясь за то, что беспомощным, словно у ребенка, языком никак не мог сейчас найти слова «развяжи». — Скажи своему отцу, чтобы меня отпустил.

5

Бестуж понял, что произошло, когда скопец уже лежал ничком на земле и с хрипом бил по ней кулаками. Он успел подставить Парфену связанные ноги до размышления, как подставлял ногу любому бегущему. Ему повезло: споткнувшись, скопец выронил нож, щучье тельце его нырнуло в травяные заросли. Скоморох тотчас сумел дотянуться, ухватить его, перерезал себе путы и отскочил

в сторону, готовый теперь защищаться. Дурак, опрокинутый навзничь, хлопал глазами; он так и не уяснил, что нож предназначался ему. Но Парфей не пытался встать. Он словно обессилел вдруг, медленно повернулся, и Бестуж впервые увидел, как в самом деле похожи его и Маркела безволосые лица с мучнистой неживой кожей, с заостренными подбородками, маленькими зрачками; только одно было крупное, другое измельчавшее, с расцарапанной щекой — но в божьем зеркальном оке они вместились наконец одинаковые. Ногтев единственный еще ничего не понимал; он с трудом оторвал взгляд от приближавшихся всадников, пока Парфен с кривой усмешкой на узких губах добивал его последним признанием, предсмертной исповедью, потому что другого времени у них впереди не было. Что обманывать себя дальше? Они даже не пытались бежать. «Бога не обманешь, — мотал головой скопец, держась за горло, как будто что-то его уже душило; пена проступала в уголках губ. — Лучше тебе, Маркелушка, было бы не родиться». Больше его слов потрясли Бестужа крупные слезы, прокатившиеся по мертвым щекам: слезы раба, оскотенного за прелюбодеяние с госпожой, слезы слуги, лишившегося своей силы, чтобы дать жизнь последнему из Ногтевых, слезы отца, пытавшегося рабством своим вывести в князя больше выдумку свою, свой обман, нежели порождение... Вдруг он выхватил у Маркела саблю, ловко повалился на нее ребрами, забился, засучил ногами — удачно попал. Тело его еще затихало, когда на холм въехал отряд.

6

Ногтев пятился к крыльцу от круглолицего всадника в сияющих нерусских доспехах, пока, поднявшись по ступенькам, не оказался с ним вровень. На щеках Маркела белели, точно отмороженные, два круглых пятна. Под ногами коня лежал в луже крови труп — всадник не обращал на него внимания.

— Маркел Ногтев, — сказал он напыщенно, — ты не есть рыцарь. У тебя нет чести. Ты мог получить смерть как благородный дфорянин, а фместо этого захотель стать вором. Теперь ты будешь умереть как собак по царскому приказу. Я даще сам не стану портить сфой руки. Пусть это сделай самый низкий слуга.

Он обвел взглядом отряд, выискивая палача, и лишь тут заметил Беспамятного.

— Пошему этот шелёвек голый? — спросил он, вскинув брови.

— Это дурак... дурак, юродивый, — подскочил Бестуж; он ухитрился обмотать себе руки веревкой, как будто сейчас только освободился, и всем своим видом давал понять, что не имеет и никогда не имел ничего общего ни с какими лжекнязьями.

— Я хочу, чтобы он убил, — изрек Штубе.

Скоморох засуетился, освободил ноги Ивана, перенял у кого-то копье, стал совать в руки ошалелому дураку; в душе его пело: «О господи! Неужто пронесет?» Сейчас им услужить — ничего не узнают.

— Ну что ж ты? Что стоишь? — подталкивал он Ивана. — Неужто еще не понял? Он девку твою убил. Известильничал и убил. Ну? Ну!

7

Качалась земля, их толкало друг на друга. Тела обоих были тяжелы, нанизанные с противоположных концов на копье, и не управляли совершавшимся танцем. Люди исчезли, потом вернулись с другого бока из-за спины. Дом полез вверх, побежала по склону огненно-красная курица — обманщица, сулившая золотые яйца. Их мотало по двору, стукнуло о сруб, и тот вдруг обвалился, а от развалин взметнулось пламя. Хохот возносился к небесам. Божье око упало с дерева и вытекло. Над горящими развалинами высилось крыльцо, которое уже не вело никуда, и Ногтев был велик в свете зарева за своей спиной. Он упал первый в лужу темно-зеленого сока; листва на дереве была красна, и кровавая трава устилала землю.

8

В отблесках пожара Бестуж раздевал тряпичного мертвеца, сожалел о попорченном кафтане. Дурак стоял все еще нагой и словно задумчивый; вдруг он тронул себя за голову, что-то вспомнил. Не успел его никто удержать, как он кинулся под крыльцо, уже занявшееся огнем. Он выбрался оттуда, задыхаясь от кашля, с налитыми глазами; в руке его была обгорелая шапка. Огни плясали в глазах лошадей. Смеялись опричники, смеялся усатый не-

мец, смеялся Бестуж. Дурак осторожно потрогал рукой подкладку: жив ли там червь с умными круглыми глазами, ради которого он потянулся от благодатного берега, пренебрегая мудрым запретом? Вместо червя он нащупал что-то серое, свернутое плотной сухой паутиной: непонятный плод работающего времени. Иван вернул его на место и пошел, потом побежал от острога, качаясь и высоко вскидывая ноги. Бестуж его настиг; жалость к пьяному дураку, не понимавшему, куда и к какому зрелищу он бежит, придала ему силы. Но все же понадобилось четверо человек, чтобы связать безумного и положить поперек лошади: Генрих Штубе, начальник опричного отряда, милостиво согласился взять с собой обоих.

8. Немец Штубе

1

Ветер с севера опалил листву, разжег желто-красное пламя и обдул с ветвей перегоревший прах. Ничто не скрывало сиротского убожества — сквозило во все стороны. По русской распутице на вороном жеребце трясся рыцарь Генрих Штубе. Жесткий воздух осени щекотал ему ноздри. Запах дыма и палой листвы был щемяще-тосклив, как много лет назад, когда таким же осенним утром Генрих покидал свой родной Ален и за городскими стенами провожатый-шурин замел его следы терновой веткой — чтобы сюда более не возвращаться. Подрагивали усы, Штубе невольно оборачивался назад, поверх голов своего отряда, который тащился за ним по грязи: где вы, островерхие крыши, кривые улочки и шпиль ратуши? Не разглядеть за осенней дымкой, за русскими сквозными пространствами.

2

Там позади оставались земляные валы Любека и рижская площадь, где раскаленными щипцами терзали изменника Арца, предавшегося москвитам; там далеко-далеко в дымке пребывала Лифляндия, мыза Вольфгартен и хозяйка фрау Лили, усатая страстная женщина. Позади были остроги пограничных русских городков, польские разбойные отряды, набеги, драка из-за дележа добы-

чи и речушка Эмбах, через которую он перебрался к русским, счастливо избежав поимки и виселицы, — с листом чистой бумаги за пазухой и пером для письма, заткнутым за шнур шляпы. Ему еще не было двадцати, его ждала Москва, грязная, огромная, беспорядочная, словно вытряхнутая из мешка перед голодным пришельцем, у которого хватит ума подобрать то, что валяется на дороге.

3

В Москве перебежчик получил кафтан и сукно на платье, получил оклад и поместье; наловчившись в русском языке, он стал иногда переводить речи послов самому великому князю, но сумел уберечься от соблазна постоянной службы при дворе. Слишком опасно было обжечься вблизи престола в этой ненадежной стране, где призванный к государю не радовался в предчувствии милости, как то бывает в христианских землях; нет, он прощался с женой и детьми, в смятении пытаюсь угадать за собой вину. Впрочем, и в отдалении от престола опасно было замерзнуть. Верней всего казалось оставаться тут иноземцем. Дома, среди своих, ты мог бы жить с прохладцей; чужак добивался большего, потому что чувствовал необходимость пробиваться: приумножать до поры деньги торговлей или ремеслом но уж встрепенуться в нужный час, когда запахнет иной, настоящей наживой.

4

Сизой тяжестью набухают небеса — сплошная необозримая туча. Кумья грязи летят из-под копыт, стучат в передки телег, на колеса наматывается липкая глина, лошади выбиваются из сил. Любой из русских, что ехали позади, давно бы бросил телеги. Штубе знал этих голодранцев, не сменивших за всю жизнь пары порток, он охотно брал к себе таких: они были преданней и готовы на все. Чернь в общем-то всюду была похожа больше, чем люди благородного звания, которые здесь не знали даже дворянского поединка, а поссорясь, дрались, как мужики, таская друг друга за бороды. Но у Генриха вызывала недоумение дикарская готовность этих людей уничтожать добро без всякой выгоды для себя. Иногда это его смешило, но он выходил из себя, когда Иван-дурак пытался развесить на придорожных сучках награбленную золотую посуду.

Однажды этот дурак чуть не втянул их всех в беду. Они заканчивали потрошить одну небольшую церквушку, когда вдали показались всадники. Десятка два земских преследовали шестерых опричников и уже догоняли. Штубе смутился: в зрелище осмелевших земских было что-то новое, неприятное. Но тут Иван без команды вскочил на лошадь и помчался им наперерез, идиотским своим смехом увлекая других. Хорошо, что земские с перепугу не успели их посчитать и повернули к укрепленному подворью. На своем жеребце Штубе вырвался вперед. Потом он не раз смаковал в уме свой будущий рассказ об этой погоне: как он уложил мушкетным выстрелом одного — нет, пожалуй, двух беглецов, как на их спинах ворвался в ворота. Единственными, кто попробовал сопротивляться, были женщины, они бросали из верхних окон камни и чугунные горшки. Штубе сразу взял на заметку эти окошки. Он взбежал по лестнице с боевым топориком в руке, богато одетая княгиня хотела броситься ему в ноги, но вскрикнула, увидев лицо рыцаря, и повернулась убежать. Генрих всадил ей топорик в спину. Он был легок на бегу — румянощекий карающий ангел с растопыренными усами, и глаза его были серы, как осеннее русское небо или, скорей, как клинок, в котором оно отражалось. Ах, когда-нибудь он про все это расскажет: как переступил через лежащее тело и понял, открыв дверь, что попал, куда хотел, — в девичью...

6

Северный ветер дует в лицо, дождь замерзает на лету крупой. Одежда, пропитанная влагой, покрывается ледяным панцирем. Пар идет из ноздрей жеребца, уже лоснящегося темной зимней шерстью. Можно было задохнуться на просторах этой страны. Иссякали силы и решимость, пока доберешься от места до места. Еще недавно ты думал, как не поздоровится первому же селению, которое встретится на пути, — и вот чувствуешь, что ни на что уже не способен: только бы спать. Грязь начинает морозно цокать под копытами. Отблескивают под небесами оледенелые примолкшие всадники, и ветер напекает им в уши про края, куда лежит их путь, про деревни и города, преданные разгрому по государеву слову, про улицы, по которым потекут ручьи растопленного воска и сала,

окрашенные кровью людей и животных, про добычу, богатство, удачу, и как, выступив из Москвы с единственным конем, Штубе вернется с табуном в сорок девять голов; двадцать две лошади будут запряжены в сани, доверху груженные добром. Сам великий князь отметит его, призовет к себе и пожалует Генриха, сына Вальтера, высокой честью зваться среди варваров по имени-отчеству — Андреем Володимировичем.

7

Но не обольщайся, Генрих Штубе! Вслушайся лучше: невнятен напев здешних ветров, неуследимы их завихрения, ненадежна удача в этой стране, где рыцарскую добычу утратить не дольше, чем обогатиться. Придет пора, начнут и у опричников отбирать имения, предъявят старые счета, покуда их не перечеркнут пожары, чума да голод. Но ты этого дожидаться не станешь, ты вовремя покинешь Москву, увидишь Вологду и Каргополь и торг на Холопьем острове, где лапы и самоеды за бесценку отдадут меха, увидишь Колу, куда голландские протестанты приведут корабль, груженный добром из католических церквей: медными решетками, светильниками, кадильницами, венчиками и священными облачениями. Ты познакомишься с их начальником по прозвищу Уленшпигель, и он увезет тебя наконец из русской земли — через норвежские фиорды и северные моря, каждый день рискуя встречей с пиратами или еще хуже — с испанцами, что означало бы верную смерть, потому что обратно корабль повезет триста пудов каменных ядер для стенобитных орудий, закупленных у шведов повстанцами гезами.

8

А добравшись после многих приключений до германских земель, ты почувешь, что сохранить здесь голову на плечах тоже не так просто. И бесконечные русские дороги станут сниться во сне, и ветер будет навевать тоску — тебя потянет опять в эту страну, только на правах более весомых. В Люцельштейнском замке ты станешь вспоминать Московию, составляя для пфальцграфа Ганса проект ее оккупации от Колы до Онеги. Христианам надо прочить варвара, напишешь ты (заботясь, чтобы нигде не назвать великого князя царем), а это совсем нетрудно.

Чтобы захватить и удержать страну, достаточно двухсот кораблей, хорошо снабженных провиантом, столько же полевых орудий или тяжелых мортир да ста тысяч парней, у которых в христианском мире не оставалось бы ни кола ни двора, а такие всегда найдутся. Тирания великого князя столь жестока и ужасна, что от нее рады будут избавиться и миряне, и духовенство, так что Москву скорей всего удастся взять без единого выстрела.

9

Когда же будет пойман великий князь, щегольнешь ты своим опытом, надо захватить первым делом его казну: она вся из чистого золота. А его самого с сыновьями увезти в христианскую землю, куда-нибудь в горы, к истокам Рейна или Эльбы. Туда же пусть свезут и всех пленных и там умертвят, да так, чтобы князь и оба сына видели это своими глазами. Трупы затем надо насадить на длинные бревна, перевязав им ноги у щиколоток: по тридцать, сорок, а то и пятьдесят на бревно — сколько выдержат на плаву, бревна же пустить по течению, тогда тела будут торчать из воды вверх ногами. Пусть жестокий варвар взывает к богу через посредство своего Николая и других смехотворных святых: он убедится, что все его молитвы — один грех. А наши поймут, что значит быть крепкими в истинной вере. И когда великий князь вдоволь наглядится на эту казнь, можно будет приискать ему и сыновьям в империи подходящее графство да приставить двух-трех проповедников, чтобы учили их слову божью. Пусть не считают себя христианами только потому, что бог допустил их взять Лифляндию. Границы же империи сойдутся со страной великого шаха, тогда можно будет идти до Индии и еще дальше, покуда надо всем миром не воссияет наконец солнце истины.

9. Смех

1

Было время, когда Иван помалкивал и придурился, стыдясь перед другими убожества своего ума и речи; теперь ему надо было скрывать от других опасное, во всей несомненности открывшееся вдруг знание. Он смеялся

рассказням скомороха о подмененном в детстве царе: злые слуги не допускали до него правды, и он ушел по земле смотреть, как живет народ, чтобы, оставаясь пока неузнанным, карать ради правды зло. Иван смеялся, потому что слышал это давно и про себя знал больше, но не мог сказать об этом ненадежному человеку, предавшему его и спасшему от смерти.

2

Ветер с севера играл сухими белыми роями, щекотал щеки. На деревьях вблизи пожарищ оставалась листва, пожухлая, как на банных вениках. Ветви яблонь полны были неубранных плодов, и Иван смеялся, видя в каждом из них червей; зачем вгрызаются они в сладкую мякоть и что успевают понять, когда задохнутся, добравшись до сердцевины? Он смеялся о том, что вошел наконец на равных в этот мир и стал мужчиной, пролив кровь девственности и кровь врага. Робкая белизна покрывала землю, небесная влага, растаяв, текла по его щекам, и он смеялся, потому что она была солоната на вкус.

3

Он смеялся от боли, которой было полно все кругом, о черве, что лез из шапки к нему в голову, оставляя вместо себя паутину. Он смеялся об умолкнувших голосах, о тщете беспамятства, о выжженной пустоте внутри, о младенце, совавшем в рот синие сосцы мертвой матери, и о трепете последнего листа, все еще цеплявшегося на ветру за свою иссохшую, желтую, но все-таки жизнь. Он смеялся о бессилии царя, не способного ничего поделать с этим миром, потому что пока не вернул себе власти, а соленый снег таял, и влага текла по его щекам.

10. Заговор в темноте

1

«Темень-то, господи! Глаз выколи». — «Зато поговорим наконец без страха». — «Какой без страха! Огонь вон зажечь боимся, друг друга узнать боимся». — «Зажжем погода, как столкуемся». — «Хоть доноса пока не страшно.

А то ведь ночью только жене на ухо и пошепчешь, что на душе». — «И то боязно». — «И то. Самих себя стыдно». — «А что делать?» — «Собственным холопам стали заискивать. Слышали, как Шестунова схватили?» — «Ну, этого стоило, слишком высоко зарывался. Нет худа без добра: Иван пока успеет кой с кем покончить, нам легче будет». — «А ну как ты следующий?» — «То-то и оно. Не поймешь, чего и бояться, чего ждать завтра». — «А Шестунова казнили уже?» — «Не успели. Он прежде сам помер. От страху». — «И то счастье. А то ведь еще казни придумает нечеловечьи. Того живьем сварит, с того кожу сдерет. Про Бартеньева Петра слышали?» — «А что?» — «Позвал на охоту, обласкал, а там затравил борзыми». — «Какими борзыми! Медея немецкие, зубы — во!» — «Во, во! Сам, что ли, видел?» — «Еще б не видеть! Я же их и натаскивал. Зашили его в медвежью шкуру и пустили в лес. Борзой что тут делать?» — «Смотря какая борзая!» — «Тш-ш-ш!» — «Что такое?» — «Вроде смеется кто... Кто тут еще?»

2

Смолкли шепоты, затаились по норкам, не слышно даже дыхания, и крысы перестали шуршать. Тишина густела, как сырость, набухала готовыми сорваться каплями — надо и выдохнуть наконец. «Показалось». — «Со страху». — «Смешно! Такая темнота хуже немоты. С кем мы шепчемся? Не с собой ли?» — «А зажгись вдруг свет, наперегонки доносить кинемся». — «Кинемся, как не кинуться. Небось и сейчас пробуем угадать голоса». — «Ну, в голос и не говорит никто, а шепота на угадать». — «Ох-ох-ох! На свету друг друга боимся, а в темноте бесильны. Ведь стыд!» — «Каждый о своем. А Иван всех уравнивал в рабстве, и бояр, и холопов». — «А что делать? К этому страху привыкли уже. И в гробу спать привыкают. А через новый как еще переступить?» — «Нет, жить можно. Не так уж плохо живем». — «Ну да. Едим, пьем, детей рожаем», — «Убежишь — выйдешь изменником, как Курбский». — «А что Курбский? Сказано: аще гонят вас во граде...» — «Бьют — беги». — «А бежишь — будут бить, и выйдет, что за дело». — «Вот и терпим». — «А в Торжке — слышали? — татары пленные взбунтовались. Один чуть до царя не добрался, нож о доспех скользнул». — «Спас господь». — «Господь или нет, кто знает?» — «Всякая

власть — от кого? То нехристи, татары, им что». — «А если власть одержима бесами, не от бога ли ей и конец? Может, мы орудием избраны — как отказываться?» — «Ох, знать бы! Без него, может, еще страшней». — «Да, сынок еще почище будет. Видал я, как он по мертвецам ногами пляшет». — «Зачем сын? Есть другие». — «Это кто же? Что ль, князь Вла...» — «Тш-ш! Имен не надо, не приплетай без толку. При чем тут князь?» — «А при том, что он рождением своим обречен. Будет заговор, не будет, хочет он сам, не хочет — все равно подумают на него первого. Потому что у него первого родословное право».

3

О, заговор в темноте! О шорохи, шепот, шуршанье и запах страха, столь плотный, что в нем не шевельнуться, как в толще воды! О смех из мрака! Кто нес только что впереди светоч? Слабый, он освещал лишь край черного рукава да крепкие пальцы без перстней, нежную на просвет красноту кожи, заслонявшей огонек, а прочие, положила руки друг другу на плечи, шли за ним на ощупь длинной нескитанной вереницей вниз по ступеням, по переходам, неведомо куда, и задний видел вдалеке лишь слабую точку. Теперь все одинаково затаены — не скажешь кто, не скажешь где, — примолкший шепот собирается опять в пространства обширной земли, множится под невидимыми сводами.

4

«А знаете, что Иван не завтра — послезавтра здесь будет?» — «Как так? Слух был, что он на рубеж выехал, к войскам». — «К войскам! Он после Казани близко к месту не подъезжал, откуда в него могут выстрелить. Он только с безответными храбр, вроде нас. Известно доподлинно, что он выступил с опричниной к Новгороду, в великой тайне. Вперед посланы отряды перекрыть дороги, чтоб птица не пролетела, чтоб никто не мог предупредить». — «А что в Новгород?» — «Кто знает? Был, говорят, донос, будто новгородцы хотели предаться польскому королю». — «Уже на целый город донос!» — «А может, и верно измена? Новгородцы — они ведь такие, ого-го!» — «Откуда узнали, если такая тайна?» — «Узнали. Среди ближних царя тоже иным стало тошно. Да и своей очереди неохота ждать». —

«Ну вот! Вот и говори, что он без причины видит измену! Рядом с ним на него же нож точат. И мы сами — не умышляем разве против него?» — «А что делать?» — «Что делать! Война идет, поляки с Литвой нас теснят, а мы о чем?» — «Опять вроде смеется?..» — «Тш-ш-ш!» — «Показалось».

5

«Про Литву послушайте. Есть подозрение, что донос на Новгород литовцы же и подбросили. Чтоб царь своих пошел бить — им выгода». — «Кто знает?» — «Послушайте еще. Был человек от Сигизмунда. Говорит: выдадите Ивана, тотчас поворотим назад и с войной покончим». — «Ну вот! Ну вот! Как же нас не за дело казнят?» — «А что делать? Не мы его повяжем, так он нас. Ведь погибнем же и так и так, без чести, без пользы, как податливые бабы, как беспамятные рабы. Друг друга доносами изведем. Перед детьми будет стыдно». — «А что перед детьми? И дети будут бояться, и внуки». — «В темноте просто стыдить. А кто первый откроется?» — «Не пора ли свет? Что угодно лучше, только не так». — «Вот, слышите? Не чудится, право слово, кто-то сидит здесь, дышит, а голосу не подает». — «Что-то не слышно этого, который про собак спорил. Эй, куда делся?» — «Вон я!» — «Ты? Не похоже что-то». — «Много ли нас, кто знает?» — «Сколько бы ни было, для заговора многовато». — «А для казни и заговора не нужно. И без доноса обойдется Иван. Он сует вот так в темноту руку, точно в курятник, выхватывает наугад. Вон когти дьявольские близко уже, вот сейчас вцепятся, не в соседа, в тебя! А? Кричишь теперь?» — «Пронеси господи!» — «Ну вот, слышите? Вот смеется опять. Теперь уж точно!» — «Огня! У кого есть кресало? Глянем наконец, кто затесался тут». — «Ах, вашу мать! Бояре! Заговорщики! Труссы!»

6

Щелк, россыпь искр, возня. Трут не успел разгореться, невидимые тела разом, без сговора, кинулись — не на огонек даже — на звук, душа искру в зародыше. И среди возни всем стал явствен теперь тихий смех. Он звучал все время, пока метались во мраке бесплотные звуки, стукались о стены, пластались по ним тенями, призраками

теней, проходили без дверей, сквозь камень, наружу. Ошалелым филином носился под сводами хохот, отзывались ему как эхо гулкие филины из темноты. Звуки вырывались слабее на волю, и ветер подхватывал, уносил их вместе с ошметками шепотков.

11. Монастырь

1

Пепел помнит о бревнах жилого сруба, черепок хранит запах меда, вытекшего из горшка, и камень у дороги мог бы рассказать о праще, из которой был выпущен в незапамятные времена, о височной кости, которую он проломил, оборвав чью-то жизнь. А помнит ли соболя опушка на царской шапке, как бегала когда-то по морозным снежным лесам? Помнит ли она ладони золотоордынского хана, возлагавшие шапку на голову своего данника, потного от радости, багрового от торжества? И взаправду ли эта шапка сидела однажды на голове беспамятного дурака, среди страшного пира, где изгалялся шут в красном колпаке с козьими бубенцами: под глазами мешки, на небольшом лбу складки, длинный нос чуть искривлен вправо и нижняя губа выпячена?

2

Колпак еще помнил о царском шуте, князе Гвоздеве Осипе, разъевшемся недомерке с оплывшей шеей и остробородым, от другого тулова, рыбьим лицом. Никто не умел, как он, портить воздух — не просто на разные голоса, но в голосах этих угадывались как будто бессловесные речи. Первый раз он угодил Ивану, изобразив непристойнейшими звуками разговор между иудой Курбским и старым Жигимонтом, польским королем. Курбский-иуда верещал вкрадчиво, по-бабьи, а под конец иступленно взвизгивал, как собака. Король же отвечал ему коротким презрительным баском: бу-бу... Иван хохотал до колотья в боку, напоил князя Осипа мертвецки и пожаловал красными телятинными сапогами. Этот шутовской голос не просто потешал, но что-то напоминал приятное, что-то об унижении и покарании врагов. С той поры стал входить Гвоздев в большую силу. Рожа бессмысленная,

важная, вечно мятая со сна, тонкие губы поджаты и размыкаются только ради еды; а говорить ему вроде и незачем. Он любого мог пересмеять, не разжимая уст, — хоть думного боярина. И уж хохотали над этими его голосами спьяну — ох, хохотали! — впрочем, не все.

3

Потому что стали замечать, что каждого, за кого шут подавал мерзостный голос на потеху другим, непременно постигала вскоре беда. Хорошо, если просто с коня упадет, а то ведь и на плахе окажется. Умел ли Осип предвидеть будущее, угадывать царскую немилость — или же сам это будущее накликал? Ведь черт его знает, что слышалось царю в непотребных звуках. Слов вроде и нету, но можно что хочешь и угадать по своему разумению. Бывало, посмеется Иван, за бока подержится, — и вдруг оборвет смех, нахмурится, рот скривит, обведет всех желтым своим, нечеловеческим взглядом, как будто снимал заживо кожу.

— Вот, — промолвит, — один не побоится сказать мне правду. Один у меня ничего не ищет, один не изменит мне, как вы, холопы лукавые.

А то и не скажет ничего и смеяться не перестанет, разве что замедлит немного смех, даже призовет к себе, обласкает, как дьяка Федора Умного, одарит мехами и платьем, а уже по дороге домой подстерегут беднягу опричники, дары отнимут обратно в казну, самого разденут донага на морозе да оставят ни живого ни мертвого ждать дальнейшей судьбы. Вот каким боком выходили дурацкие-то звуки. И многие старались задобрить Осипа, кормили, поили; посол Веригин перстень подарил, не на шута сделанный, Гвоздев его и надеть не смог на раздутый палец, носил на веревочке, через шею.

4

Но что-то разладилось в нутре шута с той поры, как довелось отведать ему озерной рыбки. Неуверенным стал звук, срывался на петуха и все более походил не на живой голос, а на обычные ветры. Лекарь, немец Арнольд, пробовал поить его скипидаром, чтобы отшибить дурные воспоминания. От Гвоздева стало нести, как от москательной лавки, а память отшибло до того, что после обеда он не

мог вспомнить, ел ли уже, все искал новой еды, подступал к первому встречному с ножом и двузубой французской вилкой, точно собирался разделать. Чтобы отвязаться, его поили без конца. Он научился засыпать в любое время стоя, как мерин. Ивану это не нравилось.

— Что спишь днем? — расталкивал он шута жезлом.

— Для твоей же пользы, — отвечал Осип, и непривычно было слышать его исходивший из уст голос. — Во сне от меня хоть вреда нет. А так ведь наговорю чего. Языком-то сболтну такое — отрезать велишь.

— Отрежу и так. На кой тебе ляд язык?

— Есть без него несподручно. Давиться буду.

5

Вот как заговорил устами-то, потеряв бессловесную защиту, — не поймешь, дурак ли. И только перед смертью сподобило его напоследок полноценным звуком. За трапезой, пребывая в досаде из-за потери Изборска, выданного полякам изменниками, государь сердито прикрикнул на шута — и тот с перепугу ответил ему его же голосом, таким громким, отчетливым, что Иван оторопел на миг. Потом схватил со стола, что подвернулось под руку — миску шей, только что с кипятка, и запустил в недомерка. Шут заверещал, обваренный, кинулся в дверь, но Иван уже нащупал нож, метнул вдогонку — и настиг, попал точно. Хорош был удар, редкостный, все, кто сидел за столом, гаркнули восхищенно, как полагалось на охоте, так что Иван, довольный, даже смягчился и велел кликнуть Арнольфа. Когда лекарь склонился над распростертым телом, он услышал в тишине долгий прерывистый вздох. Вздох этот был похож на негромкий смех. Вот вся наша жизнь, слышалось в нем. Но рыбий рот шута, никогда не смеявшийся, плотно был сомкнут. Капустные листья и свекольная жижа стекали по вялым щекам с пористой желтой кожей, а лицо его уже было строгим лицом мертвеца, и помочь ему мог один господь на Страшном суде.

6

Осиротел колпак надолго, лежал в сундуке, ненадеванный, но, выступив в поход на Новгород, Иван велел взять его с собой. Он двигался в великой тайне, медленно, пет-

ляя в стороны, от города к городу, от монастыря к монастырю, творя по пути суд и расправу, а при надобности обходясь и без суда. Такой труд требовал для отдыха веселья и забвенья. Но скучны стали Ивану привычные шутки опричных застольников, надоели музыканты, плясуны и медведи. Он скучал по шуту настоящему, и Суббота Осетр, ответственный за царские развлечения, метался в тревоге, не зная, как ему угодить. Однажды Суббота услышал, что в отряде немца Штубе, который недавно соединился с царским войском, есть еще какой-то скомоорох. Он вызвал Бестужа, однако испытав его, убедился, что и этот вряд ли сможет развеселить царя чем-то особенным, новым. Вот тогда-то Бестуж, не желавший упустить случая выслужиться перед самим государем, вспомнил между словом про дурака Ивана, потешно убежденного в душе, будто он царь. Осетр наморщил бровь, примеривая, что можно из этого извлечь. Он пошел посмотреть на дурака сперва издали; у Ивана было отрешенное лицо с синими, без зрачков, глазами; дорогой кафтан лопнул на плечах, на голове была грязная, утерявшая всякий вид шапка.

— Попытаем,— сказал Осетр, царский затейник. И добавил, обращаясь к Бестужу: — А ты завтра попробуй сам, угоди государю. Может, и возьмем к себе.

7

К монастырю подъехали ночью. Высокие стены белого камня сами, без луны, светились среди снегов. Движение войска по равнине было безмолвно, однако на стук ворота открыли сразу, без промедления, как будто ждали. Игумен вышел навстречу, поднял руку для благословения и тут же осекся. Царь Иван был поверх теплых одежд в монашеской черной рясе с куколем, низко надвинутым на лоб; рядом в жаркой собольей шубе и царской шапке стоял человек с глазами, залитыми синевой, и при виде его Никанор неведомо от чего вздрогнул.

— Ждал гостей, игумен? — сказал Иван-царь. — Вижу, что ждал. Будто и спать никто не ложился. А откуда знал, что приду? — Он впился в Никанора взглядом. Борода у игумена дернулась, как у человека, прочищающего горло от комка, но Иван не стал дожидаться ответа. — А потому ждал государя игумен, — пояснил он сам, обращаясь к Беспамятному, — что велено нам бодрствовать в

ожидании жениха. Бодрствуйте, сказал господь, ибо не знаете ни дня ни часа, когда придет Сын человеческий. Бодрствуйте, дабы не застали вас спящими. И держите масло в светильниках, ибо нерадивых бросят во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубовой. Скрежет зубовой,— повторил он с задумчивым удовольствием и, не дав довершить обряд встречи, двинулся мимо смолкшего Никанора, мимо перепуганных монахов к трапезной, а дорогу туда он помнил.

8

Две высокие, как витые столбы, свечи разгорались одна за спиной Никанора, другая за спинами двух Иванов. Тускло светили фонари с железными решетками. Царские люди и монахи, одинаково в черном, толпились у противоположных стен, по оба конца длинного соснового стола, слушая государеву речь, долгую, мудреную, каждым поворотом своим вызывавшую оторопь.

— Помнишь, игумен,— говорил Иван голосом ровным и даже задушевым; с этим голосом, однако, не вязался пристальный напряженный взгляд; было впечатление, что вся речь заранее в подробностях сочинена и теперь лишь исполнялась заученно, а взгляд отдельно следил за ее действием,— помнишь, как я пришел к тебе когда-то? Как открыл свое желание постричься и искушал святость твою словесами, грешными и бессильными? Ты же описал мне суровую монашескую жизнь, отреченную от плотского и мирского. И как услышал я об этой божественной жизни, возрадовалось сердце мое. Нашел я, думалось, узду для невоздержания моего, убежище спасительное. И решил, если бог даст мне при жизни, постричься именно в твоей, игумен, обители. И склонил я, окаянный, свою скверную голову и припал к стопам твоим честным, прося благословения. Ты же возложил на меня руку и благословил. Помнишь? — спросил он внезапно другим, резким голосом, и глаза его по-особенному сверкнули; затем продолжал опять ровно и задушевно.— И с тех пор все казалось мне, что наполовину я уже чернец. Хоть и не совсем отказался от мирской суеты, но уже ношу на себе благословение монашеского образа. И видел я уже, как многие корабли души моей, волнуемые лютыми бурями... да, бурями,— повторил он, как будто на миг усомнился в красоте мысли и слога, но затем счел и то и другое вполне

пригодным, — находят здесь спасительное пристанище. Беспокоясь о своей душе, я боялся, не испортилось ли сие пристанище. Но смотрю: нет. Бодрствует братия, ждет жениха. Вот он и явился. Все, пришел я постригаться к тебе, игумен, — голос Ивана становился все живей. — Принимай. А вместо меня благослови нового государя. Вот нашелся наконец. А то все прятался. — Он глянул на Беспмятного, тот ответил ему смущенной улыбкой. — Признаваться не хотел. Дураком прикидывался, страшась царской власти. И правильно, что страшился. Насилу уговорил. Только сперва накорми нас с дороги. Или откажешь за неурочным часом?

9

Все долгое время, пока государь говорил, монахи боялись шевельнуться. Теперь они будто очнулись, с двух сторон стали что-то нашептывать Никанору в уши. Иван нахмурился, спросил у игумена, в чем дело, и тот пояснил, что куда-то пропал келарь Иеремия, а с ним ключи ото всех погребов, но что сейчас его разыщут. После столь речистого, торжественного разгона молчание установилось нехорошее, тяжкое. Оно все больше накалялось, когда к игумену стали возвращаться посланные монахи, зашущукались тревожно. Келарь Иеремия, в миру звавшийся Лука, раздутый, точно пиявка, человек с бабьим задом, исчез, как в воду канул, не только с ключами, но и с частью монастырской казны, и это было тем более подозрительно, что при перекрытых наглухо дорогах он не мог ни знать о приближении царского войска, ни сам ускользнуть мимо застав. Бог знает, чем разрядилась бы набухшая, как нарыв, тишина, если б от стены, из толпы не выскочил вдруг черный монашек. Он кинулся мимо Ивана-царя в ноги Беспмятному и стукнул лбом об пол:

— Не вели казнить, государь, все врет игумен. Келарь келарем, а вина у него и в помине не водится. Замучил нас, братию, жаждой и голодом. Житья от него нет, бедным.

Лица монашка было не видать, однако голос Беспмятный сразу узнал, только растерялся и не прерывал, пока тот, все прикладываясь лбом к полу, плел свою несусветную жалобу на игумена.

— Сам с нами не пьет, палкой нас бьет, — сыпал он складно и часто, — колокола не бережет, всю медь выко-

лотил, звонит днем и ночью, спать не дает. Казну монастырскую разорил на ладан и свечи, а говорит, что украли; чернецам от копоты той очи повыело. Велел бы ты ему, государь, колокола снять да на вино променять, чтобы спать не мешали.

10

Не выдержала скоморошья душа, почуял свой час Бестуж, угадал, что не с добром явился к игумену царь, что обидная насмешка над Никанором придется, глядишь, впору. И, кажется, угодил; дрогнули губы Ивана.

— На тебя донос, игумен,— сказал он слегка удивленно.— Что скажешь?

— Не монах! — впервые подал голос Беспамятный и засмеялся.— Не монах, он Бестуж-скоморох! Я его знаю.

— Да что ты, государь? Значит, он врал? — вскинул Иван бровь, теперь уже без сомнения удивленный.

Бестуж поднял от пола разбойную красную рожу, смиренно пожал плечами: значит, врал; вид его с вывернутой набок шеей выражал готовность принять любую кару, но в то же время уверенность, что кара не будет чрезмерной, а может, окажется и приятной.

— За ложный донос царь наш не милует, знаешь ли ты это?— сказал Иван голосом, в котором не было улыбки, и взглянул на Беспамятного. Оживленный ропот, уже готовый перейти в смех, тотчас оборвался.— За это голову рубят с плеч, правда ведь, государь? Видишь, какими людьми править придется?

Он был доволен; веселье начиналось сверх ожиданий. Монастырская братия теснилась за спиной Никанора, на нее как будто не обращали внимания. Беспамятный, восседая на высоком кресле, улыбался растерянно. Иван что-то нашептал ему на ухо, а потом от государева имени велел сшибать с погребов замки и проверить: если окажется вино, доносчика казнить; да огня принести побольше! Появились свечи, факелы, плошки. Стол заполнялся блюдами. Вкатили первую бочку, а вместе с ней мясницкую колоду. Какой-то бородач с маленькой головкой уже примеривал в руке широкий топор. Бестуж тревожно и недоверчиво вертел кривой шеей, вид его становился все менее уверенным. Он вздрогнул, когда его тронули за плечо.

— Исповедаться будешь? — спросил его Осетр, как и прочие одетый монахом.

— В чем мне исповедаться? — пробормотал скоморох белыми губами.— Я, как Адам ветхий, зла и добра не различал.

— Ну, может, завещание скажешь? — без улыбки предложил Осетр.

Вестуж задумался.

11

Что ему было завещать? Только слова, прибаутки да песни, последнее свое добро — хоть давно разошлись они по свету; потому он и мог их завещать. Он мог завещать все пропитое и пролитое, все битое и пережитое, а выпитое и съеденное готов был вернуть земле, если еще не успел изрыгнуть и извергнуть. Он завещал все отданное и подаренное, ушедшее на случайную милостыню или в девок, а взятое возвращал вместе с телом своим, вяленным, дубленным, битым, как белье на реке, молоченым, как сноп на току. Он возвращал костяной свой череп, а завещал усмешку его, он завещал горькую свою лихость и пьяные мечтания, все, что видел во сне и что наплел, наврал, прилгнул, он возвращал червям недосказанную тоску и оставлял ненужную память новому государю.

12

Скоморошье завещание понравилось Ивану больше всех прежних шуток, он даже хмыкнул от удовольствия. Седеющая голова склонилась ничком на колоду, бородач поправил ее за волосы одной рукой — другая была занята топором. Беспамятный весь подался вперед (двое опричников сзади придерживали его за плечи), на губах застыла неуверенная улыбка человека, до которого еще не дошла шутка, но который знает, что сейчас надо будет смеяться. Суббота Осетр приблизился к скомороху сзади, крикнул: «Руби!» Палач, с присвистом вздохнув, поднял над головой топор, но не опустил его, лишь крякнул на вершине взмаха, — и в тот же миг царь плеснул из ковша ледяной водой на оголенную шею скомороха. Вестуж дернулся задом и затих. Своды трапезной задрожали от хохота. Смеялись оба Ивана, смеялись царевы люди, даже монахи тряслись, не размыкая помертвевших уст. Один игумен оставался неподвижным, каменным.

— Ну, вставай! Государь милует, — подергал за волосы Осетр.

Бестуж не шевелился. Его перевернули вверх лицом. Бледность уже поднималась от подбородка ко лбу, губы расслабились, и лицо его обрело черты ребенка, давным-давно явившегося на свет.

13

— Угадал! Угадал! — рванулся к Ивану Беспамятный, задыхаясь в каком-то изумлении; глаза его блестели.

Иван не понял возгласа, но посмотрел на дурака с вкрадчивым любопытством:

— Э, государь, не казись строго. Так бывает: мы добра хотим, а головы-то летят — не приклеишь. Думаем, пошутим разок — для остротки, для замысла своего, а кто-то, глядишь, шутит над нами... ох, шутит! Спроси, каждый скажет: разве я того хотел? И ты еще говорить будешь. Выпей лучше за помин бедной души. Так и ушел, охальник, без покаяния. А себя не вини.

— Себя не вини? — переспросил Иван, не понимая.

— А на ком же теперь вся вина, вся кровь? — с тем же выражением спросил Иван, поглядывая, впрочем, на Никанора. — Она ведь еще будет литься. Что делать? Игумен, правда, обещал взять на себя, говорил, что последний раз — можно. Говорил, игумен?

— Шут! — все в том же изумлении вспомнил Беспамятный.

Иван взметнулся от этих слов.

— Верно! Куда мне в монахи? Да игумен меня еще, глядишь, и не примет, он теперь новому царю хочет служить. А, Никанор? Колпак мне гвоздевский! И огня еще! Пейте! Все пейте!

Он скинул рясу и шубу, оказавшись в огненно-красном кафтане, подпоясал его шутовской разноцветной покрывью. Колпак с бубенцами забренчал на его голове. Красная пелена все сильней застилала взор. В исступлении какого-то восторга он подскакивал то к Беспамятному, то к Никанору, требуя от игумена ответа перед государем: хочет ли ему служить или уже к кому-то еще переметнулся? Стены вон какие возвел — точно в крепости: от кого отделиться хотел, с кем воевать? И то, что говорил он не прямо с игуменом, а как бы через дурака, делало его слова особенно зловещими. Никанор терпеливо молчал. Тени на сухом лице были зачернены, ночная с изморозью борода скрадывала их незаметно. Наконец заговорил и он; голос его звучал спокойно и твердо.

— В чем ты хочешь меня винить? Если что за мной знаешь, скажи. Что стены возведены — так по твоему же слову, разве не помнишь? О твоём только царстве старался, твою власть хотел вознести.

— Слышишь, государь? — вприскокку метнулся к Беспамятному Иван. — Вот так любого попа послушай: только о нашей власти старается. Царю бы небесному так служили. Нет, не до небес. До небес никому теперь нет дела.

— Вознести? Возвестись, — вступил внезапно Беспамятный. — До небес-то... Ты раньше сам хотел возвестись.

Голос его был тих. Игумен второй раз вздрогнул: скажи эти слова стена, он не так изумился бы. Иван с пристальным любопытством, чего-то не понимая, проследил за обоими.

— Я хотел закона, — ответил Никанор без прежней уверенности. — Но чтобы первым о нем помнил тот, кто его устанавливает.

— Вот, слышишь? Кто хочет плохого, государь? — вмешался Иван. Они оба теперь говорили перед Беспамятным, как будто предъявляли свои доводы. — Да кто-то все шутит... право шутит! Поспрашивай еще игумена. Чего он, кроме правды, взыскует? И что против меня, шута бедного, замышлял — тоже небось ради правды? Ведь вязать меня здесь, в монастыре, хотел, полякам выдать.

Никанор поднял руку к глазам. Он давно чувял запах, забытый, выветренный; ему показалось сейчас, что этот запах исходит от его же собственной кожи — рабский, тленный, земной. Опять тянуло, затягивало месиво, с которым он не сумел совладать. Гордость и стыд заставили его поднять голову: все было решено — чего уж бояться. Они говорили теперь все трое почти враз, как будто спешили выдохнуть.

Никанор: Хотел, хотел — да больше в мыслях. Ничего не смог.

Иван: Увы, увы! Может, оно и верно, лучше было бы для царства. Это уж пусть государь нас рассудит.

Беспмятный: Не то, не то!

Никанор: Такими ничтожными сделал ты всех вокруг — и на заговор не способны.

Иван: Да мне-то больно неохота, чтобы меня вязали.

Беспмятный: Не то! И так, и так — все не то. Все насильно. Над жизнью насилие — потому что ее боимся.

Никанор: Того ли я хотел, когда говорил с тобой о власти и законе?

Беспмятный: А нету понимания, любви нет — и все не то.

Никанор: Ты все извратил, все сделал беснованием, гнилью. Уже сейчас задыхаемся, а что дальше?

Беспмятный: Навёрху, внизу — как связать свою жизнь с другими? Вот что! А что они, другие, для нас?

Иван: Игумена спроси: можно ли с людьми без узды, без страха, без крови? Для их же блага притом?

Беспмятный: М-м, не то!

Никанор: Что ты творишь со страной, Иван? Рушатся связи, гниет память. Пойдет так дальше — пресечется и род твой.

Иван: Да он пророк! Как вещает!

Никанор: Посмотри на своих. Разве не видишь: все почти мертвецы, и кто из них умрет своей смертью?

Беспмятный: М-м, бедные мы, безумные мы, нелепые!

Иван: Пророк, пророк! Вот он, праведник-то! А мы искали! Такому прямой путь — на небо взлететь, а?

— А? — откликнулось вдруг, как эхо, и повисло среди пустоты.

Никанор осекся — и совладал наконец с дыханием.

— Не выйдет, — усмехнулся он. — Было однажды: почти что летал. Да, видно, чего-то последнего не уразумел тогда. Не сподобился.

— А мы сподобим! — в восторге завопил Иван. — Сподобим, государь?

16

Беспмятный мотал головой и тихо мычал, как от боли. Ему вдруг стало страшно произнести слово: казалось, от слова зависит сейчас жизнь и смерть этих людей. Вино, которое он, не заметив как, выпил, меняло что-то, но не внутри, а вокруг. Он слышал: они все говорили не о том и не хотели его понять, они были безумны, но сказать это он им не мог и сам заранее смеялся над словами, год-

ными лишь для жизни на острове. Пытаясь прояснить свою мысль, он перебирал в уме людей, которые встретились ему на пути: Макария и Маркела, толмача и старуху, немца и Бестужа, безымянных путников, которые гонялись за богатством или за наслаждением, за честью или за истиной, — но не находил никого, кто был бы совсем отличен от споривших сейчас перед ним — кого нельзя было бы назвать безумцем. Что можно было сказать этим людям? Что можно было с ними поделать?

— Я не хочу! — простонал Иван, снимая с головы царскую шапку. — Возьми ее!

— А! — подскочил к нему Иван. — Поноси еще! Али жжется?

— Не могу! — страдальчески повторял дурак.

Тогда Иван кинул колпак с бубенцами в угол, выхватил у Ивана шапку и криво нахлобучил на себя.

— Кончился царь! — закричал он. — Нет его, умер! Разденьте и похороните с честью! И братию разоблачите донага — всех! Праведность их — платье, а перед господом всем предстать надо нагими: поглядим, чем они лучше других. Разбивай еще бочки! Почему нет музыки? Разучились петь, монахи? А ну-ка, подхлопывайте!

17

Хва-лите бога во святыне его —
и-эх!

Хвалите бога во твердыне его —
и-эх!

— Быстрей, быстрей! Гойда! Гойда! — покрикивал Иван, сам уже примериваясь с пятки на носок и с носка на пятку; ноги просились плясать. Чьи-то руки легко, как с неживого, совлекли с Беспамятного одежды, высоко подняли, раздетого, над головами. А вокруг Никанора трудилась целая толпа: тяжел стал игумен — не в подъем.

Хва-эх! — лите его по могуществу его —
гойда!

Хва-эх! — лите его по величию его —
гойда!

Не музыка — ветер гудел в пустых трубах, свистел в щербатых зубах. Волосы набухали кровью. Черты лиц вдруг исчезли — пустые пятна бесновались кругом. В тесно надышанном воздухе задыхались свечи, под сводами плавал, колыхаясь, топор.

Хвалите его звуком трубным,
Хвалите его на гусях.

— Гойда, гойда! — притопывал Иван и кружился посреди трапезной. Красные одежды горели на нем, метались обильные огни. Нагие тела колебались среди мути. Палач с крохотной головкой сидел на чьих-то плечах. Перед Беспамятным, как перед покойником, несли свечи; потом его взяли за руки, за ноги и стали раскачивать.

Хва-лите его с тимпаном,
Хва-лите его на струнах —
аллилуйя!

В голове раздалась вдруг вспышка без боли, Иван только успел понять, что это смерть, и подумать: вот как это бывает.

18

Он ожил вновь от ровного рокота, подобного удаляющемуся раскату грома. Кругом него был дымный, слабо светящийся мрак. Высоко-высоко в нем проступали разгоравшиеся огоньки. Белые нагие тела, перечеркнутые поперек веревками, свисали сверху подобно нетопырям, пристроившимся у большой бочки. Откуда-то из мрака раздалась заглушенная вопли. Ивану послышалось, будто старческий надтреснутый голос пропел из удушливой мглы:

Се еси добра, прекрасная моя!

Мир перевернулся на ноги. Бочка стояла на земле, подоаль от Ивана, закрываясь все больше дымом. Видны стали бревенчатые стены. Сырая солома разгоралась с трудом. Еще один дрожащий голос подхватил странное песнопение:

Се еси добра, любимая моя!

Старцы были тесно привязаны кругом бочки спинами, будто вели хоровод, в котором не хватило места беспамятному дураку.

Очи твои горят, яко пламень огня,
Зубы твои белы паче млека.

Дрожь трясла Ивана, как смех; он попробовал приподняться. В предсмертном удушье, у бочки с порохом, к которой уже подбирался огонь, нагие старики пели о ней, как будто видели ее воочию:

Зрак лица твоего паче солнечных лучей.

Возносились в небо звездные главы, пламенели глаза, светились зубы белей молока, которым она уже не вскормит дитя.

И вся в красоте сияешь.

Иван рванулся от этих голосов — его подхватило в воздух. Не глазами — всей кожей увидел он за собой огненный столп, и все голоса, слышанные им, все жизни, им прожитые, сдавило в нем страшной смертельной силой и втиснуло внутрь существа.

19

Он умер опять. А когда изумленная душа, обновясь, вернулась в его тело, белая метель крутилась перед глазами. Он лежал на снегу среди дымящихся обломков. Лицо было сплошным ожогом, возвращалась боль, но все вокруг онемело. Воздух был пуст и оглушителен. Несло по ветру снег вперемешку с мукой, валялось кучами загаженное зерно, лежали разбитые вытекшие бочки, темнелись туши зарезанных коров. Громадные черные птицы кружились, снижаясь, в небе. Иван прикрыл глаза, желая вернуться туда, где только что мог ничего не чувствовать, но боль становилась сильней, и он понял, что его вышвырнуло в эту жизнь обратно, — опять ему суждено было вернуться в нее нагим. Выброшенная взрывом шапка с околлом, который когда-то был лисьим, лежала прямо перед глазами, но тяжело навалившаяся немота не давала протянуть к ней руку. Точно сквозь сон он увидел, как откуда-то из-за развалин возник человек с обрывком железной цепи на щиколотке. Черное от копоти лицо его было страшно, длинная борода заплетена в косицы. Шатаясь, словно ощупывая воздух пальцами, он двинулся по снегу без дороги. Беззвучный ветер кружил вихри вокруг его ног, обутих в нерусские сапоги.

12. Молитва

1

Вмерзли в небосвод звезды,
Упала с высот ледяная звезда.
Среди оглохшей пустыни
Плачет пославший нас.
Снова судьба наша — пагуба,
И гортань наша вопит о боли.
Зачем велишь ты нам возрождаться
И оставляешь память обо всем, что было?
Зачем вложил ты в нас жажду,
но не даешь утоления?
Зачем питаешь нас, но не даешь
насытиться?
Вновь, несчастные, тянемся мы к огню
И стенаем, ожегшись,
Вновь творим безумное и замышляем зло,
И не в науку нам судьбы живших до нас.

2

Опрокинулась немота над миром,
Леденеет рогатый пастух
И не считает застывших стад.
Как сухой песок, шепчется кровь в ушах,
В пустоте толкутся кристаллы,
Льется с высот просветленный плач.
Неужели это — ответ твой?
Неужели не дано совладать нам с памятью
Или хотя бы избавиться от страстей?
Не дай нам думать, что так было всегда,
Не дай поверить, что останется так вовек.
Непосильна уму нашему ноша,
Гнется спина, потрясены кости, вопиет
кожа,
И нету в устах наших истины.

Часть третья

1. Отроки

1

На всякий колокольный звон, на крик бирюча они попевали из Зарядья первыми, пропихивались локтями сквозь чашу высокорослых ног, продирались, отирались сопливыми лицами о кафтаны, шубы и платья, увертывались от тумачков, как грачи, облепляли деревья и крыши вокруг Поганой лужи — площади казней, чтобы, разинув рты, поглазеть на цветущую рубаху палача, на сказку отрубленной головы. В дырявых валенках, отцовских шапках, с зрачками, жадными до бесстрашия, они причащались к общему вздоху, и зоркий от малолетства взгляд их различал, как вылетала легким дымком душа из разверстой шеи, над парным кровавым цветком, в ясный воздух мимо звездных глав Покровского собора. А Первуха Некрас божился, будто видел раз, как ангелок на трепетных, стрекозинопрозрачных крыльях тянул детские ладошки, подхватывая неприкаянное облачко. Другие, потужась, тоже будто что-то усматривали, хотя человек постарше и усомнился бы: откуда в этикие времена взяться душе, достойной ангельского касания? Некрас всегда видел больше других; это он рассказывал, как среди помоста восстал перед царем обезглавленный труп и начал трястись страшно, а голова отрубленная захрипела: «Невинную кровь проливаешь!» Он будто забрался однажды и под сам помост и смотрел оттуда, как капала сквозь щели кровь. Не верить ему остерегались: он был всех сильнее и старше в ватаге зарядских мальцов. Свинчатка его выигрывала бабки у всех подчистую, потом Первуха им же их продавал обратно по денежке либо за хлеб.

Ужас, холодивший людей взрослых, в них не проникал, и, может, это было страшней всего; взгляд их упивался видимыми подробностями настоящей, полной чудес жизни. Восхищенно и завистливо смотрели они на лихих молодцов с взаправдашними саблями и секирами, обсуждали, как знатоки, достоинства и красоту оружия, а сами могли разве что отрывать лапки мухам и тараканам да еще играть в палачей. В этой игре главным был тоже, конечно, Первуха; у него одного была красная рубаха, которую он мог нашивать даже в будни. И мучить Первуха умел как-то особенно, не силой, а умением выворачивая руки до боли: вырваться начнешь — только хуже.

Для казней лепили снежных болванов, головами умещали на дровяную колоду, и если к вечеру подмораживало, не так просто было отхватить затверделый ком головы одним ударом деревянной сабельки. У Первухи получалось всегда. Когда же началась игра в гуся, Некрас захотел быть и палачом и царем. Оттяпывая от снежного тулова кусок за куском, он голосом, похожим на царский, покрикивал: «Ну что, отроки, вкусно гусиное мясо?» — и обводил высокомерным взором — тоже как государь. Потому что отроками назвал их, мальцов, однажды сам царь Иван, открывший им новый вкус в старой игре.

Люди взрослые пресытились казнями — уж на что всегда было желанное зрелище! — но и мед приедается. А ведь старался царь, придумывал новенькое, сам гарцевал в тот день у помоста, зазывал, подбадривал оробелых: «Подходите, подходите поближе, люди московские! Будет что посмотреть!» Он был красив, как на иконе святой Георгий — на буланом жеребце с заплетенной гривой, в сбруе, усыпанной жемчугом. Доспехи сияли на солнце, слезя глаза, остроконечный шлем казался золоченым, и золочеными были стрелы в колчане. А лук! а саадак! а меч! — точно снарядился в сказочный победный поход, каких теперь не бывало. Чего, кажется, людям еще? Но приходилось их зазывать, как купцу, который расхваливает свой товар и сам себя распаляет, сам себе начинает верить: «Подходите, подходите! Смотрите, любуйтесь, кто вас обирал, кто заедал ваш хлеб и вас самих готов был пожрать, и отроков ваших!»

Так и сказал: «отроков»; должно быть, скользнул налитым взглядом по верх голов, по крышам и голым деревьям, отроками сиими облепленными. А у плахи не стоял — обвис на руках стрельцов — ломаный, с перебитыми ногами, с вытекшим глазом судья Пивов, лихоимец известный, особенно же знаменитый взяткой гуся, начиненного золотом. Поэтому и придумал царь разделать его как гуся: сперва отхватили ноги по середину икр, потом руки по локоть, и каждый раз, чуть наклонясь, в сиянии доспехов своих справлялся Иван насмешливым голосом у вопящего, обезумевшего обрубка: «Вкусно ли гусиное мясо?» И поглядывал на народ, приглашая разделить насмешку. А потом и спрашивать стало некого, откатилась в сторону голова с искаженным ртом, и обновилась надежда, что станет теперь и впрямь лучше — раз изведен еще один, повинный в притеснениях и беспхлебье. Дети — что? — им все забава; но почему и в чело веке пожившем, ученом, трепаном отзывается облегчением и надеждой ужас чужой смерти? Словно вот эта подачка жестокой судьбе, насыщая ее на время, отодвигала срок вносить свою долю. Но вот засмеялся в толпе юрод Ивашка Нагой, предвкушая себе добычу, и смех его вдруг скреб кожу новым сомнением: станет ли лучше-то?

5

Ивашка единственный на Москве нарушал запрет хоронить убиенных по царской воле, настигнутых карой внезапно, средь улицы, на торгу — чтоб не успели показаться и причаститься, чтоб в мертвых пальцах изменников не было бумажки с очистительной молитвой, удостоверявшей отпущение грехов. Старался государь, чтобы и на том свете не нашлось пути вражьим душам, чтобы не могли отлететь с жалобой, корча из себя мучеников праведных. Неупокоенные, они шесть недель принуждены были, скуля, носиться круг места смерти, не узнавая и не находя своих тел. И пусть себе ищут до Страшного суда — тела уже вороньем по кусочкам склеваны, руки-ноги разбросаны по рвам и колодцам, а голова, глядишь, спущена в прорубь. Пусть ищут. Перед судом небесным тоже небось предстать надо в целости, как и перед земным; по кускам не больно-то сунешься, да еще без отпе-

вания, без бумажки. Все было Иваном предусмотрено. А чтоб даже втайне было некому помянуть окаянных, заупокойный вклад внести в монастырь, государь сразу и родственников выводил подчистую. Хоть тут, может, он осторожничал без нужды. О родстве и так помнить боялись. Знакомства, собственные слова вчерашние и те старались забыть поскорей.

6

В любой мороз один лишь колпак, подобный кому грязи, прикрывал Ивашкину голову, и эта неуязвимость перед холодом, когда простой человек и в одежде коченел, пугала и вызывала почтение. Он не носил ни рубахи, ни крестов, примерзавших к коже, ни пудовых вериг, ни даже медных колец на срамном уде. Из-под колпака торчали, как седая пакля, волосы, но обожженное, все из красного мяса лицо не имело возраста, багровые ноздри казались вырванными, а глаза без ресниц светились новорожденной синевой. Он ходил по улицам, сопровождаемый стаей смирных псов (почему звали еще юрода Собакиным), с дровяными санками и крюком, которым подцеплял найденных мертвецов, а потом волок их за Язу, к скудельне — сараю над просторной ямой. Раз в год, в радоницу, на Фоминой неделе, приносили туда кутью и свечи, отпевали скопом, не пересчитывая, прося господу не пренебречь безвестным поминанием: «а имена их ты, Господи, сам знаешь». Если под свежим снегом долго не удавалось найти никого, юрод становился беспокоен, он вертел головой, шевелил беззвучно губами, будто нарушался некий порядок, известный ему одному. А найдя, смеялся удовлетворенно, птичьим смехом глухого, не слышащего себя человека, отдирал примерзшее тело, иногда при этом ломая. Стрельцы пробовали вначале отбирать, но от смеха этого становилось не по себе: из-за мертвечины сцепились. И делали вид, будто не замечают: много ли утащит блаженный?

7

А другие смотрели — смотрели, не зная, смеяться им или плакать. Юрод среди людей — всегда потеха, соблазн и загадка; но этот уж слишком смущал душу. Самым страшным начинало казаться даже не обилие трупов, а то,

что их переставали замечать, смотрели, как на придорожные камни: только бы не споткнуться. Жизнь все-таки шла своим чередом, не скупилась даже и на забавы. Хоронить убиенных не хоронили, но если на телах оставалось что-нибудь мало-мальски пригодное — к утру они болтались на виселицах или валялись на снегу наги и босы. Да что там! Пыточная смола, затвердевая в котлах неподъемной тяжести, исчезала за ночь вместе с посудиною, и следа было не сыскать. Но этот своим смехом по сердцу скреб, выворачивал что-то со дна, как выворачивал крюком тела, уже прикрытые белизной. И даже отроки зарядские, заоченелые в своем бесстрашии, таинственные и опасные, когда собирались вместе, способные уже и на прохожего напасть из-за угла, перепугать и ограбить — даже они Собакина побаивались необъяснимо, хоть тоже бегали за ним, и плевались, и швыряли камнями (впрочем, издали, опасаясь рычащих псов), и улюлюкали: «У, юрод, мертвечину жрет!» А он лишь оборачивал свое лицо красного мяса, будто довольный. Кричали-то они днем — но вместе с теменью сгущался в их душах страх, как будто им, Ивашкой Собакиным, пугала их в младенчестве мать, грозя отдать юроду в мешок. Стоило в сумерках среди игры крикнуть кому-нибудь: «Собакин идет!» — как все разбежались в сладком ужасе. Это было тоже как игра — ужас перед кем-то, кто вот-вот схватит их сейчас в мешок, в темноту, из коей выбрались они так недавно, что слишком помнили еще ее жуть. Хотя были у него мешок-то? Никто не видел. А видел — у кого доставало смелости оглянуться, — как кто-то, став огромным, плыл над домами, среди заснеженных крыш, наклонясь по ходу движения.

8

О, детские страхи: чудища из сказки, шевеленье теней, когда от сквозняка мечется огонек в светце и стены срastaются с внешней тьмой, а гробовые лики святых из углов не сулят заступничества и помощи. О, запечные шорохи, зеленые глаза обитателей мрака, плач ветра, шелест снежной крупы по бревнам, круговерть на дорогах, когда, встав на карачки и взглянув сквозь собственные ноги, увидишь чертей. По ночам и взрослые становились подобны детям, робели, вслушиваясь в бессонный мрак. Скрип, скрип — кто бродил в темноте по дворам и ули-

цам, перегороженным решетками? Ночью запирали ворота и дома на тяжелые засовы, спускали с цепи собак, но на лай не выглядывали. Да собаки и не лаяли почти, сами, невесть от чего скуля, забивались поглубже к себе в мерзлую соломку. Стучало залубенелыми конечностями оставленное на веревках белье, скрипели столбы виселиц над кремлевским рвом, глухо сталкивались на ветру окаменелые тела. Ни живого огонька нигде. Только мертвенно светился на площади снег в черных пятнах близ опрокинутой плахи, и птицы, не успевшие долететь до гнезда, застывали в оцепенелом воздухе, над призрачными в зеленоватом сиянии крышами, чтобы утром, с лучом солнца, упасть наземь.

9

От дыхания воздух замерзал со звуком, напоминавшим шорох пересыпаемого зерна, и, как облачко дыхания, становились зримы в густом морозе бесплотные призраки. Федот Сухой, звонарь с колокольни Ивана Великого, однажды припоздняясь, увидел против кремлевской стены у собора слепца в холщовой, не по морозу, рубахе; истощенное лицо иконного постника было черно. Зияя кровавыми дырами на месте глаз, он нащупывал перстами снежинки, будто трогал за ними во мраке невидимые черты храма. Но когда Сухой, перекрестясь, окликнул его, ослепленный исчез, точно растворился в снежной мгле, не желая, видно, тревожить своим именем ничьей памяти. Многим и средь бела дня чудилось все чаще, будто кто-то идет за ними, шепчется, скулит, догоняет с задыханием. А однажды целая толпа на китайгородском торгу разбежалась вдруг в неизъяснимом страхе, услышав неурочный колокол, — все сорвались врассыпную, оставив открытыми лавки с товарами, побросав наземь лотки, втаптывая в грязный снег пироги, калачи, битые черепки, и, тяжело переводя дыхание, сами потом не могли понять, отчего бежали. А когда кто-то, опомнясь, загоготал — сам над собой или над всеми, — на него накинудись остервенело, как на виновника; тогда только отошло. Ибо не всякому дозволялось то, что прощалось юродивому. Нет, невнятное становилось время, смутное, с гнильцой. В церковь стоило зайти разве что погреться, а так лучше хоть не заглядывай. Попы едва языком ворочали, пьяные, красноносые, — слава богу, их и не слышно было средь

смеха и ругани, криков кликуш и калек, елозивших по грязному полу. Неладное творилось с людьми. Вдовый купец Мосолов, что жил за Никольской церковью, удрученный худой торговлей или чем-то еще, хватил в сердцах семилетнего сынишку за разбитую вазу дорогого венецианского стекла, да так неудачно, что мальчонка помер через неделю. И хотя тащить к судье купца было не за что (своего сына учил), заскучал Мосолов, отдал полтора ста рублей на храм, напустил полон двор нищих, а потом сам подался по торговым делам чуть не в Персию, оставив дом на некую Олену, святошу, которая даже родней ему не была.

10

Дом Мосолова был построен на старинном высоком подклете, оставшемся от старого разрушенного дома; говорили, что раньше здесь был двор какого-то опального боярина — с домашней церковью, девичьим теремом, садом. Но хоть времени с тех пор прошло как будто немного, никто даже из соседей не помнил ни имени его, ни звания. Все обросло теперь новыми постройками и службами, амбарами, погребями, по-купечески основательными и мрачными; нелепо смотрелись при них нарядные резные ворота — тоже от старого двора. После отъезда Мосолова слуги его разбежались, каждый при этом прихватывая кто что горазд, а святоша эта, Олена, с нищей братией довершала на глазах у всех разорение. Соседки, зарядские кумушки, в насмешку называли ее купеческой вдовой. Мосолов взял ее к себе когда-то из милости, вроде бы в услужение, — явившуюся невесть откуда с младенцем, едва живым. От недостатка материнских соков мальчик родился без кожи и неизвестно чем держался — с телом, как открытая рана, защищенным лишь тонкой пленкой или вроде бы пенкой застывшей, сквозь которую голубели жилы. Даже летом ходил он одетый по-зимнему, но все равно не прожить бы ему так долго на свете, если б не Олена. В голодные годы она ухитрялась прокормить его грудью до возраста, когда он уже стал бегать, от себя отпустить боялась, чуть не дышала на чадушку свое ободранное, единственное, и этим душевно задевала соседок. Да всем она их задевала; как будто, гордясь, глаза колола: а вы-то своих не так любите. А попробовала бы, святоша, когда их в избе семеро, а в брюхе восьмой, и все,

как зверята, знают одно: есть, есть, и сколько из них еще выживет? Выплескивая за ворота помой, выкидывая печную золу, встретившись у колодца, отводили бабы душу, перемывали ей косточки.

11

Всем она была им в досаду: и что румян никогда не клала, ни белил, все почти лицо закрывала глухим черным платком, не позволявшим судить толком ни о виде ее, ни о возрасте, и что в церкви не пропускала ни одной службы, в праведницы хотела попасть — сейчас пеленой ее оботри да в рай пусти, и что, гордясь перед ними, на злословие не отвечала, будто обет дала отмалчиваться, и что у них ничего не попросит, а сама все дает безотказно, и не спрашивает, если не возвращали. Ей назло и не возвращали. Мосолов, коли вернется, спасибо ей небось не скажет: она ему сведет домок в один уголок, в орехову скорлупу... Так они судачили за глаза. А Дарья, по мужу Козлиха, самая языкастая из ругательниц, однажды и сама заявила к ней, пьяная, уперла руки в боки да понесла:

— Ты чем перед нами гордишься, вдова невенчанная, постница?.. Чадушко твое ободранное ветром в подол надуло? А для какой услуги тебя купец-то к себе взял — никому невдомек?..

Дарья была ростом огромная, поперек себя шире, тем более что надевала платьев и шуб одно поверх другого едва ли не все, сколько было, а было их у нее много. Муж Дарьи служил будто бы при самом царе, пропадал безвыездно в слободе, хоть никто не понимал, на что мог сгодиться такой недоумок с крохотной головкой. Но добра — что платьев, что сапог — и верно были у них коробка; многие сгорали от любопытства, откуда, только Дарья не выдавала. Чем она сама промышляла в молодости, все знали и так; теперь она была сводней — тоже дело доходное, и нельзя было не позавидовать ее счастью. Пожить сумела в свое удовольствие, от детей бог миловал, муждурак за это не бил, а главное, сама ничуть не стыдилась бездетности и тем паче не горевала. Вопреки всему, что принято было думать, она считала рождение детей делом тех, кто глуп либо порчен; удачно устроенное нутро должно было доставлять сперва наслаждение, потом жир, довольство и гордость. Она свысока, с сожалением смотрела на одрябшие, отцветшие, отродившие тела не-

удачниц, и в церкви пропихивалась вперед. Олену эту, постницу, у которой хватило ума или наглости промолчать, не ответить, она сапожком могла растереть, подковкой серебряной, но успокоилась на первый раз тем, что взяла себе попавшееся на глаза сито.

12

Однако заклевала бы Дарья невенчанную вдову, извела бы рано ли, поздно — не объявись у ней вдруг новый защитник. На зиму нижнее жилье мосоловского дома облюбовал прорицатель страшный, Лука. Всю прочую братию сразу со двора унесло как ветром. Боялись его — и было за что бояться. Раздутый, черный, огромный, Лука сидел целыми днями в гробу, из трещин которого сочилась темная жижа. К гробу этому близко не подпускали после того, как некая восторженная кликуша кинулась отгрызть от него щепочку и не выплюнула, сколько у нее ни пытались отнять. Приходивших к нему баб он останавливал на расстоянии, даже вопросов к себе не допускал, а если кто не сдерживался, швырял, чем под руку попадет, и прогонял. Надо было мысль свою только подумать, Лука уже кивал: знаю, знаю — такова была на нем благодать. И ведь действительно знал, только понимать его ответы тоже надо было с умом. Так, сомневалась одна, выдавать ли ей дочь замуж, да услышала от Луки одно-единственное слово: «Колода». Что за колода? Недолго, бедная, думала, дочь умерла от горячки, и стало ясно: о гробе пророчествовал Лука, о гробовой колоде; чего уж было спрашивать о замужестве? Предсказал он также пожар весной, лютый мороз в январе, и не было среди его пророчеств нестрашного.

13

Только раз в день, рано утром, восставал Лука от своего ложа и совершал недолгий обход до Кремля, мимо церковных папертей и торговых рядов. Иные нищие и калек прятались от него: тех, кто почему-то вдруг вызывал его неприязнь, он мог не просто посохом изгвоздить; показывали нищего, на которого Лука напустил полчища вшей, так что и на морозе все тело бедняги до кончиков пальцев словно бы шевелилось. Купцы в Калашном ряду с почтением ждали, у кого он возьмет угощение; это означало почин в торговле на весь день, ибо сразу разносилась молва,

что купец благочестив и товар хорош. Если же он опрокидывал чей-то лоток, дело было худо и лучше не подбирать упавшего. Поднял один, пожалел добро — ночью же и преставился: мука у него оказалась отравлена. Впрочем, с калачами теперь почти и не выходили; хлеб исчезал. Где были те времена, когда на москворецком льду, против виселиц, стояли на четырех ногах ободранные туши коров? когда купцы с бородами, затверделыми как панцирь, расставляли прямо на снегу обильный товар? Половина лавок в Китай-городе стояли заколоченные, а то и разбитые, без крыш.

14

Перед Кремлем, дожидаясь седоков, мерзли извозчики с сосульками в усах; бока лошадей курчавились инеем. Сторожа выпускали из тюрьмы за милостыней лифляндских пленников. Они побирались на торгу, кутаясь в худые немецкие обноски: одна нога обернута соломой, другая тряпками — на посмешище отрокам; но жить было надо. От влажного мороза туманило глаза. Церкви высоко приподнимали над удивленными стенами дуги слепых бровей: кто мог среди бесхлебья поделиться еще и милостыней, тем паче с врагами, нехристями? Но подавали — то-то и чудеса. Каждое утро из ворот мосоловского дома женщина, закрытая до бровей платком, выносила к церкви на раздачу хлеб, испеченный собственноручно. И хоть мука в нем все больше подменялась сосновой мезгой, вкус будто и не менялся; это многим тоже казалось чудом. Ими одними питалась кое-как жизнь. Какая-нибудь из кумушек зарядских, измученная нуждой и горем, не зная, как прокормить своих семерых, вдруг брала еще восьмого, оставшегося от умершей соседки, и, утирая слезы жалости к самой себе, недоуменно убеждалась, что на каждого приходится как будто и не меньше, чем прежде. Забывались голоса ночной непогоды — не приснилось ли? Снежок припорошивал следы страхов, золу, мусор, сверкал невинной белизной. На столбах, нахлобученные по самые глаза, белели боярские шапки. Главы храмов были прекрасны, как напоминание о правде и милости, которые превыше человеческих. Белье, внесенное с мороза, пахло яблоками и речной свежестью. Отходила душа — хоть на время, пока не слышно было птичьего скребущего смеха. А когда теплело, опять можно было лепить снежных болванов для вечерней казни.

Однажды в сумерки к Первухе Некрасу привели сыночка Олениного, Ванятку Драного, застигнутого за преступным делом: втихомолку деревянным мечом рубил он головы заготовленным снеговикам. Первуха судил самозванного палача, восседая на высокой поленнице. «Ты что ж, у меня хлеб решил отбивать? — спросил он с притворным удивлением. — Может, у тебя и рубаха красная есть? Пошарьте-ка». И пока с малыша совлекали заячью теплую шубейку, тот только и сумел сказать в оправдание, дрожа всем телом, что хочет с ними играть. Он не мог этого выразить: едва отпущенный от матери, он тянулся к ним — бедняга, которому причиняло боль дуновение ветра, но который так хотел быть своим среди них, грубых и сильных, делать то, что они. «А терпеть ты умеешь? — полюбопытствовал Первуха. — Кричать не будешь?» Он уже придумал, чем заменить испорченную игру. На ворота накинули веревку, Ванятку поставили на чурбак, связали, как положено, руки, самодельную петлю накинули на шею — он стерпел это все без стога. Беда разразилась, когда кто-то вдруг крикнул: «Собакин идет!» — и все кинулись врассыпную, оставив малыша. Он дернулся, пытаясь высвободиться, чурбак опрокинулся под его ногами. Но даже теперь еще он старался не кричать, да пожалуй, уже и не мог. Задушенного голоса хватило только на хрип — и все же Олена его слышала. Когда она выбежала к воротам, юродивый уже вынул мальчика из петли и держал на руках. Простоволосая, без платка, она иступленно стала выдергивать у него обвисшее тело. Нагой не сразу отпустил, смотрел на нее оцепенело.

— Отдай! — кричала она. — Он еще живой! Отдай, урод окаянный!.. Отдай, миленький!..

Волосы ее без платка разметались, открыв на лбу продолговатый рубец. Нагой, казалось, ничего не слышал, красное мясо ожогов на его лице было подернуто той же, что у мальчика, непрочной глянцевой пленкой; жалобный звук клокотал в горле, не вырываясь наружу.

2. Гость

1

Кружилась голова от теплого забытого запаха. В багровой пещере взбухал, как живой, хлеб. Утром в дом к иконному мастеру Истома Бессонову принесли полмешка ржаной муки от неведомого благодетеля, а теперь объявился, довольный, он сам: вологодский гость Тимофей Супонев сидел в жаркой горнице, расстегнувшись, но не снимая ферязи, длинные рукава спускались на пол. Горела на столе праздничная свеча, но казалось, не ее свет озарял лица, а этот дух, мягкий, пугающе-добрый, исходивший от каравая, как сияние, которым он был окружен. Раскрасневшееся лицо Матрены, Истоминой жены, было лицом молодой женщины, и дети на полотах притихли.

2

А крылатый ангел с длинной трубой похож был на скомороха, некрашенные щеки его раздувались, ужимая в щелочки глаза. Апостол с деревянным венцом вокруг лысины и большим купеческим ключом на кольце имел смущенный вид человека, который отпереть-то ворота может, но ничего за ними не обещает. Евангелист с книгой в одной руке и пером в другой оглядывался на кого-то, словно сомневаясь, заносить ли на бумагу то, что ему открылось. У всех были почему-то растерянные, виноватые лица; тела в живом сиянии были мягки и трепетны.

3

Прошлой зимой, на водосвятие, Супонев в давке остутился в крещенскую прорубь, устроенную против Кремля. И среди всей толпы, привалившей зачерпнуть из Иордани, а пуще всего поглазеть, как митрополит кропил освященной водой царя с сыновьями и вельможами, как вели крестить татар, несли больных и детей, поили роскошных коней царских, — среди всех Истома первый понял, что тут не до смеха: слишком сразу и тяжело намокла на купце шуба, затягивая под лед, и, вытаскивая его, москвич сам принял ледяную купель. Они отогревались вместе, пили, не пьянея, и с первой встречи заговорили сразу

как люди, связанные куда как не пустым знакомством: даже о делах, про которые на Москве близкие соседи давно не любили толковать. Ну, не то чтобы совсем без отяжки — не о царе и не о московских казнях, но о войне, скажем. Впрочем, и тут особо нечего было таиться, вологжанин сочувственно переживал трудный порыв к морю, он ощущал закрытость западных путей болезненно, как препятствие в собственном теле. А что не задавалась война и оборачивалась тяготами — без этого не бывает; сейчас перетерпеть, а там окупится. Истома не спорил, только усмешливым словом выявлял иногда в купце человека, удачно поторговавшего в Москве и потому уверенного, что дальше будет не хуже. Купцу понравился его простой и трезвый нрав, москвич вовсе не гордился содеянным, а сам как бы умалял, насмешничая над своей неловкостью. Потом уже купец заподозрил, не гордыня ли и превосходство проступали за этим умалением?

4

Человек с колючим венцом сидел, прикрыв щеку рукой, — то ли подпершись задумчиво, то ли защищаясь от удара. А может, он в стыде и горе закрывался от ребенка, которому еще предстояло все испытать? Ведь он заранее знал его судьбу, но уже не мог уберечь. Ребенок лежал на руках матери, вжавшись щекой в тепло ее нательной рубахи, так что головка казалась вывернутой набок; на голом его тельце древесным узором проглядывались жилы, а мастер, тяжело наклонясь со скамьи, уже доставал из сундука висящего на кресте.

5

Целый год ждал Сүпонев обоза, предвкушая, как разочтется с горделивым знакомцем. От месяца к месяцу щедрость задуманной оплаты сама собой возрастала несоизмеренно, а пока удалось добраться до Москвы по разоренным опасным дорогам, сохранив непограбленными единственные сани, прошлогоднее вообще стало казаться безделицей. Теперь купец сидел за столом, подавленный и потный. Мастер полулежал на скамье, ноги его были прикрыты дерюжкой, как ненужная, неживая вещь. Уже год, как он не мог ходить. Прислоненные к стене стояли

иконные доски, залевкашенные, но пустые; не было даже яиц для краски, да и покупателей, и от невозможности привычной работы Истома сам для себя делал из дерева нечто вроде резного иконостаса — кощунственного, недозволенного, как идолопоклонство, пряча в сундуке от детей тела святых, которых они считали игрушками.

6

Видно было, что он вырезал прежде всего лица, остальное выделывал пока грубо и небрежно. У распятого были руки, ноги и ребра долго голодавшего человека. В уголок губы вдавилась нечаянная виноватая улыбка, точно он вдруг понял, что это еще не конец, что страдание, которое он хотел принять за всех живших, — отнюдь не последнее и даже не самое страшное рядом с муками оставшихся людей, кои не могли надеяться на чудо воскресения. Притихли тараканы, ожидая своих крох, и даже у сытого гостя кружилась голова от духа хлебного своего благодеяния, а на горло что-то давило изнутри.

7

Они уже поговорили о лекарях и травах; купец неуверенно пробовал подбодрить обезножевшего мастера, вспоминая случаи исцелений и всякие чудеса. Дорогой в Твери он слышал, будто некий тамошний умелец наловчился выплавлять золото из простой руды и его уже увезли в Москву. Это была обнадеживающая новость. Он не замечал, что все больше пытается приободрить не столько Истому, сколько себя самого; беда каждого из них слишком сливалась с бедой общей. Мастер усмехался; он не верил в посторонние чудеса и чего-то ждал лишь от собственного упорства, простого, долгого, как необходимость выжить, — точно и впрямь знал что-то, более уверенный, чем те, кого вызывало к жизни скошенное лезвие его ножа.

— Вот кончу вырезать и встану, — проронил он загадочно.

— Обет, что ли, такой, али видение?

— Считай, что обет.

— И долго еще вырезать?

— Как на ноги встану, так и узнаю.

И нельзя было понять, всерьез он или шутит. А у

печи плакала отчего-то жена Истома — недолговечен был этот островок надежды, сытости и тепла среди студеного мрака, где все было связано: беда и соседский сирота, взятый к себе в голодный дом, и свалившийся словно с небес хлеб; здесь надо было все время что-то давать, делить, до последней возможности чем-то поступаться, чтобы не становилось меньше.

3. О чудесах

1

После обеда принесли Ивану известие, что алхимик тверской Степашка Фролов с подмастерьем отравились у себя в мастерской, так и не сумев выварить золота ни из меди, ни из свинца, ни даже из серебра. А ведь в Твери, говорят, получалось у собак! Пусть немного, но он сам видел бледный порошок на дне медной чашки, из него выходил слиток с копейку. В слободе же не смогли произвести ничего, кроме смрада, хотя перевезли с собой всю свою кухню с котлами, горшками, трубками прямыми и перекрученными. Как будто водку собирались гнать. А то водки им для работы не давали? Всякого давали нужного зелья, ни в чем велел Иван им не отказывать. Даже воду потом стали возить в сорокаведерной бочке из Волги, от Твери — может, она там другая? А чтоб не соблазнять водкой помимо дела, Иван кухню их приказал устроить как раз против застенка и для начала сводить к пытке: пусть острастятся сперва на чужом примере. И помогло было! Уже капало из трубки что-то желтоватое, больше прежнего похожее на золотишко. Чуть-чуть было еще постараться; а чтоб не ленились, застенные вопли подбадривали мастеров день и ночь. Чего, кажется бы, еще? Все для них, иродов, сделали. Кормили говядиной И вот ведь вывернулись, отродья прокаженные, псы смердящие!..

2

Они лежали среди грязных опилок, раскатившейся по доскам посуды, каких-то костей и песка. Мертвые зубы нехорошо оскалились, вздернулись вверх бороды в слипшихся брызгах. Возле цедильных решет рассыпались мел,

зола и глина, смешанная с конским волосом. Валялись на полу весы, ступка с каменным пестом, тусклого стекла бутылка без пробки с мутью на дне. Иван пнул носком сапога бесчувственные, уже недоступные пытке тела — однако осторожно. Он от души потоптал бы собак, но словно опасался, как бы не брызнуло из них что-нибудь злое, отравное. Кто их, батожников, знает. Увидел под ногой горшок с горлом, затянутым бычьей кишкой и обмазанным глиной, с ненавистью поддал его о печь. Горшок не разбился, но кишка лопнула, из дыры понесло падалью. Пальцам ноги от удара стало больно, а все равно — душу облегчить не удалось. Нависла тяжесть и не срывалась. Иван услышал из-за стены крик и быстрым нетерпеливым шагом пошел туда.

3

Дверь отворилась без скрипа, за пыточными воплями Ивана никто не услышал. Дьяк, сморенный жаром раскаленной печи, задремал, сделав в дознании перерыв, и палач Козел мучил кого-то для своего удовольствия. Палач был детина с кулаками в детскую головку и с головой маленькой, как кулак, с голыми руками и грудью, в длинном кожаном переднике. Подтянутый за руки на веревке, кричал и корчился под кнутом его московский сосед, шорник Федька Сукин. Федьку поймали при попытке перелезть через тын на подворье литовских послов. Все упрямылись послы величать государя царским титулом, и чтоб разродились поскорей, им впроголодь урезали еду и питье, стерегли, как зверей, никуда со двора не пускали. Федька уверял, что хотел лишь обменять на пироги мясные кое-что из платья немецкого, ноского, а если б удалось поторговаться, то, может, и уздечку наборную, он еще при въезде посольском ее присмотрел; изменнический же умысел отрицал истошно. Он даже добавлял в свою пользу, что пироги ведь были с собачьей тухлятиной, никакой пользой для врагов обернуться они не могли, скорей, наоборот. Но до настоящего разговора еще не дошло, в пытке тоже была своя обрядовая постепенность. Козел по опыту мог заранее предсказать, что Федька выложит после дыбы, а когда подтвердит полную измену. Сам же он знал за соседом кой-какие другие дела и решил к случаю напомнить, а заодно поспросить: кто на Покрова связал его ворота пеньковой веревкой,

так что жене Дарье пришлось к заутрене выбираться чужими дворами на потеху всему Зарядью? Кто обзывал за глаза ее же, Дарью, сукой и другими непотребными словами? Если не сам Федька, то небось знает кто?

4

В Дарье своей Козел души не чаял. Ей был обязан он многими милостями по службе, признавал превосходство ее ума и особенно ценил в ней ругательницу. Когда она заводила «Чтоб тебя...» — надо было только наострить уши да мотать на ус — всегда подберешь что-нибудь полезное для дела. Сам он скудным своим умишком такого и не придумал бы... Федька в поносных словах не отпирался, только оправдывался, что говорил так не он один. И насчет ворот признался сразу, прощения просил, скуля и вскрикивая при каждом ударе. «А кто баньку поставил так, что грязь к нам в колодец течет? — продолжал учить соседа Козел. — Говорил, поставь с другого боку? Говорил? Говорил?» И Сукин взвизгивал виновато и клялся, что переставит. Козел знал, что стонет Федька отчасти из хитрости: бил он его пока не взаправду, взаправду не такой был бы крик. Торжеству его мешало предчувствие, что вряд ли соседу придется переставлять баньку. И тут Иван вышел из дверной ниши, закипая яростью от унижения государева дела, и выхватил у палача кнут.

5

Козел сумел даже не отшатнуться от удара, чтобы не сердить государя. Он пробовал быстро сообразить свою вину и не мог. Недоумение выражало его сморщенное шерстистое лицо, напоминавшее мятую рукавицу. Что кнут он расходовал? Так не казенный был кнут, самодельный, плел его Козел собственноручно, сам подбирал полосы бычьей кожи. Таким кнутом да не так бы бить. Для третьего удара он удобнее повернул спину, и стало видно, что на нем не было не только рубахи — ничего, только передник да опорки на волосатых ногах. Иван осекся на замахе:

— Ты чего разделся, как в бане?

— Жарко, батюшка-государь, — не сразу понял вопрос Козел. — И одежда марается. А кнутом этим не так надобно бить, — поспешил он вставить к случаю.

Иван уперся в него выпученным налитым взглядом, и палач торопливо стал объяснять, что между жил кнута вплетены были насечки железные («Полторы недели плел, жилка к жилке»); если правильно им оттянуть — мясо пойдет лоскутами.

— Я им с трех ударов человека перешибу,— добавил он не без законной гордости и, показав в воздухе правильный взмах, опять с готовностью подставил спину, на которой уже вздулись два красных рубца.

Иван заново примерил в руке кнут, как бы осознавая его потяжелевшую ценность; но вид голого палаческого зада был противен, и умиляла холопья добросовестность недоумка.

— Покажи сперва сам,— сказал он Козлу.

6

И-эх, как свистнул в воздухе кнут, как закричал в смертном ужасе Федька Сукин! Вот теперь это был истинный крик, теперь был крик неподдельный. Дьяк у печи давно очнулся, таращил глаза. Для второго удара кнут перехватил Иван — получилось. Удовлетворенно крякнул палач. И еще успел подумать с некоторым сожалением — не слишком, впрочем, большим: все, так и есть, не переставит уже баньку сосед, не выйдет желанного торжества. Тот, кто звался когда-то шорником Федькой, уже не держался, но был еще жив. С третьего удара все было кончено. Иван языком облизнул вокруг губы, ощутил сладковатый вкус. Не зря хвалился палач. Царь с уважением посмотрел на кнут, удовлетворенно — на правую свою руку. «Ничего,— подумал он.— И у нас умеют, когда хотят». Вид жалкой мерзостной плоти всегда настраивал его на мысли о ничтожестве и малости человека, о том, как немного стоит его жизнь, его страсти, обманы, расчеты. Жесток ли он был? Нет. Он правды взыскал, одной лишь ее хотел,— его ли вина, если истина о человеке открывалась лишь в воплях, как в воплях рождался на свет он сам?

7

Расслабленный и обмякший уходил Иван из застенка. Временами он переставал понимать жизнь вокруг и с тревогой чувствовал, что не имеет над ней той власти, какая

иногда казалась почти достигнутой. Что-то ускользало все время из-под рук: попробуй извести раз навсегда всех врагов — попробуй перебить по одному всех комаров или разом очистить страну от несчастных. Рождалось все больше новых уродов, это было знаменем испортившегося времени, а знамению не воспротивишься. Необходимость карать зло не зависела от твоей воли, как голод или мор, которые насылал господь. Еще хуже, что даже, казалось бы, понятные люди вдруг начинали задавать загадки и оставляли неразрешенными сомнения. Во время недавней казни Шелкалова и прочих московских заговорщиков Иван решил обойтись без палача — чтобы каждый взял долю, отрезал от воров по кусочку. Так было и справедливо, и поучительно, и тесней связывало. Но третий же, кто подступил к Щелкалову, подьячий Васька Ренут, поспешил прикончить изменника прежде времени, пустив ему черную кровь из паха. И не в том было дело, что скомкал, собака, заготовленный праздник, — их еще три сотни дожидалось, раздетых донага, подвешенных за локти к поперечным бревнам, и котлы на кострах кипели, обещая многое впереди. Непонятно было, из жестокости ли переусердствовал Ренут, по молодости желая выслужиться, — или милосердием стошнило? На нем уже было давнее подозрение: не он ли пропустил убежать одну из девок, с которыми забавлялись когда-то на лугу. А выяснить не удалось: опередила чума, уберегла, прибрала опричника, и осталась у Ивана заноза в памяти.

8

Много было таких заноз. Воля его торжествовала как будто во всем, никто ее и не думал оспаривать — но почему же тогда все хуже становилось с деньгами? Казалось, чего проще: посылаешь наместников кормиться, как пчел на цветы, и берешь потом свое; только меняй почаще, чтобы были ретивее. Между тем взятко неуклонно скудел, а потребность росла. Новгород поправил было дела: не для одного спокойствия души порастряс там Иван сокровищницы; и вот ищи опять. Чудо ему было нужно — ах, как ему нужно было чудо! Ведь сколько их случалось когда-то на Руси: дождало из туч не только жито, но даже серебряные крохи; про другие страны и говорить нечего. Послушаешь, чего только не

совершается там с дьявольской помощью — сам готов упасть в грех; знать бы только наверняка, что не обманешься. А у тебя и алхимики — воры; вертись, придумывай сам. Недавно Иван написал в Москву, чтобы прислали ему колпак живых блох: дескать, понадобились для немецкого лекарства, и ловите как хотите — на псах или своих, на детях, а паче на себе; уж это добро небось на Москве не вывелось. И московская земщина отвечала смущенно, что набрать столько блох по стольному граду, может, оно и набрали бы, но как их живьем удержать да еще довести? Разве не вправе был Иван разгневаться? Он взыскал за обиду с Москвы семь тысяч рублей, но теперь жалел, что не больше, и собирался потребовать с бояр тыщонки три за то, что на последней охоте не попалось ему ни одного зайца. Кто всех вытравил, если не они? Приятней денег было знать, как они кричат, почесываются, но отказать не смеют; потом, впрочем, сами найдут, на ком возместить.

9

Ох, люди, люди! Чтобы сотворить себе холопов из грязи, надо было как следует их размять в грязь. Но способные на все, они становились по-новому опасны. Во многих глазах Иван замечал ту особую бешеную поволоку, какая бывает у собак, отведавших человеческой крови. Такие могут укусить и руку, их кормящую. Точно странная болезнь или наваждение находило на них то и дело: убив, они на другой день не могли отчитаться, кого и за что, доносили — и сами потом удивлялись, с чего вдруг; дорогие кольца и самоцветы появлялись у них, а откуда — не умели объяснить толком. Много происходило необъяснимо. Пройди хоть сейчас по застенку — половина завопит, что не знает за собой вины. И не всех даже уличишь во лжи; про иных и тюремщики не могли вспомнить, за что они сюда попали. Они уже сидели тут, когда тюремщики только пришли служить, но и тогда уже никто не мог сказать, какие за ними дела. А уж теперь не отпустишь их и подавно: за кем не было зла, набрались здесь. Кто из них мог назвать себя праведником? То-то и оно. Лжецы, лицемеры, воры, мздоимцы, изменники, кровопийцы, готовые перегрызть друг другу горло они же потом стонали на гоненья незаслуженные! А самый-то изменник и перебежчик грозился даже в могилу взять свое бешеное

ное писание против законного государя, чтоб с ним предстать перед вечным судьей и обвинить Ивана. Как будто это по-христиански. Разве такой недостойн быть осужденным на адские муки? Так оно и будет, так Иван ему и ответил.

10

Его, конечно, заботило, что думают о нем там, наверху. Чтобы быть правильно понятым, он постарался обзавестись у небесного престола своим человечком. Выбор пал на старца Леонтия из Спасского монастыря. Уж очень клялся в преданности своей Леонтий, праведность его была вне сомнений, и когда Иван спросил, готов ли старец сослужить ему службу, о которой попросит, тот побеспокоился лишь, не грозит ли эта служба погибелью души. Иван заверил, что душе не грозит, напротив, и, взяв с Леонтия клятву, что сделает для царя все, объяснил, что хочет послать перед собой на небеса преданного человека. Такой праведник, как Леонтий, наверняка попадет в рай, предстанет перед господом и сможет замолвить при надобности словечко; что же до перенесения в тот мир, то позаботятся, чтобы оно оказалось для него легким и даже радостным; все равно скоро помирать. Иван надеялся, что через посредника, в устной передаче его просьбы и оправдания будут услышаны надежней, нежели в простом молитвенном обращении. Молитва могла быть только смиренной, покаянной; перед властью быть иным не полагалось, это он знал. Леонтию же Иван мог нашептывать другие доводы. «Скажи Ему, — говорил он, — ежели я не прав, зачем Он мне все позволяет? Зачем вообще создал меня таким, что, даже зная греховность свою, я не могу иначе? Разве не тяжело мне? Он-то знает, что тяжело». Иногда Ивану казалось, что сидящий на престоле должен его понять — после семи тысяч с лишним лет собственной возни с негодными людишками. Он также просил Леонтия заверить, что в скором времени, поближе к смерти, простит грехи казненным врагам и не скупясь выдаст на поминание денег. Только не сразу, потом. Сам же пока просил о немногом: о каком угодно чуде, которое поправило бы дела. Леонтий до сих пор ответил на все лишь однажды советом избавиться от привычки обкусывать ногти; лучше было отрезать их и серпики прятать: они понадобятся, когда придется карабкаться по кручам

в царство небесное. Совет был дельный, Иван отнесся к нему с доверием. Но полагаться на одного, пусть и верного, ходатая было бы легкомысленно; чтобы обезопасить себя с разных сторон, Иван кроме словес устных готовил себе в поддержку писания. Не для того чтобы брать их с собою в могилу, подобно злобесным изменникам и еретикам, наоборот — чтобы оставить после себя, чтобы подтвердить свою правду правдой державной памяти. Уже более года назад он затребовал себе в свободу все текущие летописи с черновиками, да так и не вернул их в Посольский приказ. В этой памяти запечатленной многое надо было уточнить и поправить: он сам лишь со временем доходил до истинной правды о давних делах и некоторых сновидческих догадках.

11

В постельной палате, как всегда в этот час, ждал его дьяк Семен Ярцев. Иван устроился поудобнее на лавке, уложенной мягкими пуховиками и подушками; кроме нее в палате было другое, жесткое ложе, покрытое лишь овчиной; в покаянном состоянии духа Иван спал на нем. Он велел Ярцеву начинать. В прошлый раз они остановились на рассказе о болезни Ивана; царь очередной раз — и с новыми подробностями — вспомнил, с какими обратился словами к боярам, убеждая, чтобы целовали крест его сыну. Тогда, в болезни, ему казалось, что он и вздохнуть не мог, не то что шевельнуть губами, но с тех пор гневные речи столько раз передумывались и повторялись в уме, что он слышал их доподлинное звучание и велел записать задним числом. Теперь Иван пожелал вернуться к событиям еще более ранним. Ярцев стал читать вслух известие летописи о набегах татар, которые по грехам пленили много людей на украинях белевской и одоевской. Что значит «по грехам», остановил чтение Иван. Давно выяснилось, что повинны в неудаче были князья Петр Шенятев да Константин Шкурлятев, да Михайло Воротынский; имена эти непременно надо было вписать. И потом еще раз помянуть, когда речь пойдет об опале. А то пишется, будто оклеветал их некий дьяк «по дьявольскому внушению» и царь положил на них опалу «за прежние неудобства». Если была вина (и не только прежняя, но и новая), при чем тут дьявольское внушение и клевета?

Дальше Ивану захотелось еще раз послушать про казанское взятие. Ярцев голосом усердным и ровным читал, как воздвигли против крепостных ворот большую хоругвь, как посылали за царем несколько раз, как, наконец, «за бразды коня взяв», привели «хотяща и нехотяща» и поставили возле хоругви среди битвы. «Хотяща и нехотяща» Иван велел зачеркнуть, а что не с первого зова поехал, это верно, ибо долго молился на холме господу, обеспечивая победу. Дальше пошло все правильно: как, увидев его среди битвы, русское войско воспряло силой и словно бы на крыльях взлетело на городские стены. Иван еще велел только прибавить подробность, которую помнил лучше других: как освобожденные пленники приветствовали царя криками радости, называли избавителем, который вывел их из ада, не щадя своей головы; и еще как царь приказал накормить всех досыта и разделил добычу, а себе не взял ничего.

Ему нравилось говорить о себе как о постороннем: государь, царь Иван, — а потом слушать все заново словно про деяния древних государей, Давида, Соломона или Александра. Это звучало так же. Ярцев, чистенький, мытый, умильный, читал постным голосом схимника о соборах и избранной Раде, о давних попытках перестроить страну и управление ею. Слушать об этом было грустно, как о временах юношеской легкости и слишком простых надежд; а впрочем, уже и скучновато — так все было давно и не имело сейчас значения. Где были теперь Адашев, где Сильвестр, что осталось от их замыслов? А вот он остался. Клонило в сон; чтобы не задремать, Иван пересел на жесткое ложе, но вскоре опять заметил, что не внимает чтению.

— А что, дьяк, воруюшь ли ты? — спросил он внезапно.

Ярцев заикнулся и от икоты не смог выговорить ни слова, только замотал головой.

— И в церковь ходишь по праздникам? А прелюбодействовать хоть можешь еще? Да ответь, что икаешь? Ну, гресишь ты хоть чем-нибудь?

Икал без остановки оторопелый дьяк, дергал головой — соглашался, видно.

— Еще один праведник. Всюду праведники,— с непонятной себе самому тоской сказал Иван и поманил Ярцева пальцем, чтоб преклонил ухо, будто хотел что-то шепнуть. Дьяк наклонился — Иван схватил его пальцами за ухо и острым ножом отрезал волосатый кусок хряща.

— От такого праведника хоть кусочек себе на память оставить,— пояснил он ласково, а Ярцев, сразу справясь с икотой, прижал льющуюся сквозь пальцы кровь и стал с поклонами благодарить за милость.

4. Собаки

1

Среди чужого, невнятного, опасного скопища вдруг выхватит взгляд своего, тебе подобного, четырехлапого,— и прежде взгляда учуют ноздри, торчком станут уши, и вдоль хребта напряжется темным островком шерсть. Тотчас все станет важным: кто там? знакомый ли, нет? больше тебя или меньше? один или в стае? кобелек или сучка? Оба замрете на отдалении, начнете сходиться не сразу, осмысленно, на ходу узнавая друг о друге главное: нет ли угрозы в оскале клыков, в слишком пристальном взгляде, дружелюбно ли помахивание хвоста, или он опускается, пригнетается словно внешней неодолимой тяжестью — сейчас подожметса совсем, и встречный не выдержит, ринется с визгом прочь; тогда все просто, тогда настигни его, ты владыка его судьбы. Искусство и знание, столь же великое, сколь простое: бойся меня, не то я испугаюсь. Тут нельзя сорваться, потерять уверенность в себе: подойти с бесстрашно задранным хвостом, обнюхаться сзади и спереди да разойтись, если вы не нужны друг другу, но все же свои в этом мире, заполненном чуждыми существами. А если вдруг окажется сучка, да еще в благоуханной поре...

2

Жизнь проста, ею правят голод и тяга к себе подобным. Насытиться, поддержать теплоту существования и продолжить его, не зная зачем; а все, что сверх того, подобно ходьбе на задних лапах. Наслаждение все равно ведь замешено на боли, тоске и скуке, все равно тяга

неутолима, как голод, — и скалятся собачьи клыки, и прочие страсти обобщены жаждой властвовать. Кому-то достается сука и кость, полная мозга, а кто-то уползает зализывать раны. До смертоубийства в собачьих схватках (не в пример человеческим) доходило редко и, скорей, случайно, рыка и щелка зубов было больше, чем пролитой взаправду крови: для понятливых чутких существ хватало и этого; правила и запреты, впитанные от рождения, оберегали существование рода. Увы, портились времена, слишком долго многие из собак терлись среди людей. Много появилось выроdkов, недоумков, утеравших тонкость чутья и забывших упорядоченность чувств. Они были опасны своей дурной взвинченностью, непредсказуемостью действий и легко впадали в бешенство. Но эти были хоть понятны, и потому с ними было проще справиться. Страшней были другие — те, кто догадались или узнали от людей, что преступивший запрет получал преимущество и власть.

3

Верховодила в стае рыжая сука, а как она взяла верх над прочими, никто не успел понять. Не то чтобы ее боялись — тощую, облезлую, с тоскующим взглядом. Но было в ней что-то недоступное другим. Она была умнее всех — единственная сука в стае. Обидеть ее никто из кобелей не мог по природе. Она же непостижимо умела стравить вокруг себя соперников посильней, вызвать драку и при любом исходе оказывалась в выигрыше. Пока, например, псы обнюхивались при встрече, выказывая свое миролюбие и одновременно бесстрашие, рыжая могла незаметно и коварно куснуть кого-то сзади, и обиженный, не разобравшись, кидался на невиновного, сочтя его нарушителем правил. Рыжая смотрела, как они изводят и обессиливают друг друга, пелена туманила желтые ее глаза.

4

По силе, породе и злобе власть в стае мог бы взять громадный серо-черный пес, в чьих жилах текла кровь охотничьих царских меделей. Оставшись без хозяина, он долго еще пытался в одиночестве защищать разоренный дом и потом всюду волочил за собой на ошейнике тяжелую цепь, тоскуя по бьющей руке, по миске поила

в награду за службу, по скудной кости, которую и сравнить нельзя с тем мясом, какое он имел на воле. Неистовый на цепи, он теперь едва огрызался, ходил в репьях, оставшихся с прошлого лета, и даже не пытался их выкусывать — все старался пристать к человеку, который согласился бы подобрать цепь, волочившуюся за ним по земле, пугал одних, от других получал удар камнем, покуда не встретил сумевшего его понять; то был скорняк-живодер.

5

Всю зиму тяжелели собаки от обильной пищи, хотя и приходилось все чаще схватываться за нее с воронами. Когда те взлетали с колоколен и крыш — словно темная туча закрывала небеса. Они спускались за добычей бесстрашно и нагло, дрались между собой в воздухе, и на головы людей нередко падали сверху уроненные куски и кости. Но прежде людей собаки уловили дуновение бед — как улавливали перемену погоды, набухавшую грозу, как на день раньше людей видели нарождавшуюся луну, а те не могли понять, отчего они воют словно волки, задрав белые морды к застывшим небесам, к холодному созвездию Псов. От мороза тяжелел мех, глаза были обведены прозрачным льдом, и чуткая душа могла бы уловить в этих звуках молитву, священнодействие.

6

Однажды утром стрельцы зарубили у самого Кремля двух волков: как пробрались они из окрестных лесов через запертые городские ворота? Собаки приближаться к Кремлю давно боялись, и не только потому, что исходил от его стен какой-то звериный страх. Немногие опричники возили теперь у седла собачью голову, это была роскошь — собак стало не хватать. Ближе к весне за ними стали охотиться уже и от голода. Рыжая сука единственная отваживалась теперь сопровождать юродивого Ивашку Нагого среди дня в город; но шерсть ее вставала дыбом, когда она в людской толпе прижималась к его ноге — охраняя и вместе отдаваясь под защиту.

7

Их общим ночным прибежищем был скудельный сарай на Божедомке. Среди существ, чьи движения беспорядочны, а речь замутнена словами, в ком так мало тонкости и

чутья, Нагой был собакам понятен больше других. Они одни слышали, как ночами он молился — бормотал что-то едва внятно, и умели оценить не столько ум его, сколько хитрость, с какой, казалось им, он таился от людей. А слабость его жалели и пускали во время сна греться в середку. С рыжей Иван иногда говорил сам; неточный птичий голос его срывался то и дело в подобие смеха. Собака слушала, морщины непосильного размышления напрягались на ее маленьком лбу, темные с поволокой глаза восточной красавицы были печальны. Когда Иван видел эти глаза, ему думалось, что собаки тоже могли когда-то стать людьми, но не захотели. Он их понимал: они увернулись, как полегче. Им не нужно было теперь надрываться душой, думать дальше себя. «Так что не вам судить,— говорил он.— Да и не мне. Я ведь виноват, я шапки не выдержал»,— признавался он шепотом и сам поскорей смеялся, чтобы рыжая не считала слишком заносчивой мысль, будто другие терпят теперь из-за него. «Разве я в укор? Я не в укор,— бормотал он.— Мне тоже проще, чем людям. Им нельзя того, что мне, я знаю. Им жить надо». Сам он мог бы вовсе не жить и понимал это, но раз жил, значит, для чего-то был нужен? Может быть, для того, чтобы помнить всех,— каждого, к кому прикоснулся, помнить все бессловесное, что переходило от них в него: больно, и не вмещалось в речь? Он понимал, что людям нельзя так: для них забывать спасение.

8

Каждый день в сумерках, с санками и крюком, Иван приходил в Зарядье к дому у Никольской церкви, стоял у частокола, словно ждал, не удастся ли вернуть на этот раз вырванную из рук добычу. Облезлая тощая собака скулила у его ноги, нетерпеливо поднимая время от времени острую морду. И слышав этот звук, сквозь стены чувствуя близость юрода, женщина в доме тесней прижимала к себе больного мальчика.

5. Поучение

1

— Ну, подходи, сынок, подходи. Не смотри, что я в таком виде. Болен я, ох, совсем никуда! Душа в струпьях, тело изнемогает, и нет врача, который бы меня исцелил.

Скоро шапчонку эту тебе примерять, очень, может, даже скоро. Кто, кроме господ, знает срок? — а готовиться надо. О наследниках думать, а? Для кого живем, стараемся, царство приумножаем? С собой не возьмешь. Так вот, не пора ли тебе жениться, сынок? Да и мне заодно. Что зарделся, как девушка? Возраст подошел. Жену сам подберу. Или уже есть кто на примете? Ну, сам погоди. Царская женитьба — дело державное. Подумать надо, из своих ли кого взять или поискать в других землях. В Польше есть у короля племянница, старовата, правда. В Англии принцесса, посмотреть надо. Я как раз в твоём возрасте об этом думал, когда на царство венчался. Только мне посоветоваться-то было не с кем. Один был — сирота.

2

Иван сидел на жесткой, покаянной постели, в одной рубахе, но с царской шапкой на голове. В каждой руке он держал по чаше с питьем и с отвращением отхлебывал из одной, а из другой запивал облегченно, и некоторое время, прикрыв глаза, прислушивался, как действует лекарство. Потом опять неудовлетворенно качал головой. Сын стоял перед ним на почтительном отдалении, потупив веки, долговязый, с мягким волосом на подбородке, и Иван попробовал увидеть сквозь него себя в этом возрасте — недоросля-верзилу, который с ватагой таких же сверстников скакал по городу, топтал простонародье и задирали платье девкам. Пожалуй, этот такой же, хотя мешали материнские черты, добавляли немужскую, бабью брюзгливость. Такой же. Иван про него все знал и про всех девок его. А некоторых даже себе брал на пробу.

3

— Да, меня-то по-родительски учить было некому, все с кровью далось. Ты со мной сызмальства при делах сидел, вникал в обиход. И учись, пока есть у кого. Всякому делу навикай, священному, судейскому, ратному, как которые чины ведутся здесь и в иных государствах, — это все важно. Книгами не пренебрегай. Пусть тебе читают побольше, а ты запоминай, хотя бы понемногу ото всего. Потом в речь вставишь — удивишь. Особенно иноземцам это нравится. С ними умей себя показать. Когда надо, бери лаской, когда надо — страхом. Главное же —

учись, как людей держать и жаловать, чтобы во всем их к себе присвоить. И как беречься от них — это тяжкая наука. Она мне ох как далась. О душе, конечно, не забывай. Превыше всего душа. Ведь что съешь, что возьмешь — все из тебя извергнется. Сколько лет ни даст господь, сколько земель да богатства ни приобретешь, а трилокотного гроба не избежать никому. Узнаешь и это. Ох, как бывает тяжело!

4

Заныл опять, думал сын, стараясь не упустить с лица выражения задервенелого внимания. И слова как затверженные: струпья душевные, тело изнемогает. А всего-то с похмелья ломит голову. Он знал, что у отца в чашах: в одной водка, в другой рассол огуречный. Лицо спросонья было опухшее, рыжеватая-черная борода всклокочена. Вокруг шеи — толстые складки, могучая жирная грудь угадывалась под рубахой, а ноги из-под нее торчали тощие, совсем стариковские, как будто от другого тела. Глянешь — и впрямь старик, к сорока-то годам. «А ведь всех переживет, — думал сын, — и детей пережить постарается. О, если б и вправду прибрал его тот, кому назначена его душа; замирает сердце думать об этом». Отец поставил одну чашу рядом с собой, снял шапку, примерил ее вес в руке. На темени его гноился кровавый прыщ. Без шапки он вдруг увиделся сыну скотиной, плотоядной, толстогубой, с красными прожилками выцветших старческих глаз.

5

— Да, придется тебе ее поносить, — с какой-то задумчивостью молвил Иван, возвращая шапку на голову. — Что я давешним летом грозил оставить престол не тебе, а ливонцу этому ничтожному, так ты забудь. Это все в гневе. И для науки, пожалуй. Потому что отдать все-таки могу, совсем из памяти это не упусти. Не Магнусу, так Федору — мимо тебя. Брат-то поблагочестивей будет. Грехи мои замаливать на престоле станет. Вдруг окажется святой? Только что делать со святостью, как сядешь на царство? Людишки под тобой — ох! Власть сама навязывает свои законы. Я, может, тоже хотел быть милостив — так ведь не дали. Не дали. Казнил много — но ведь только воздавал им за низость их. Еще и возмездие-то не по

грехам. Да по грехам и не придумаешь, какую им надо казнь. Ты сам, когда придется, с этим не спеши. Опалы клади не скоро, по рассуждению. Скоро оно не так и сладко. Самое сладкое в жизни — оттяжка, знаешь ли ты это? Ах, птенчик ты мой, птенчик неоперенный!

6

Он уже был пьян, его несло, и как это бывало даже в трезвости, собственные слова все больше увлекали его своей неопровержимостью. Да ведь не поймет небось недоросль? Хотя почему ж не поймет? Своя кровь. Но что значит кровь? Сколько своих ублюдков, рожденных незаконно, он, чтоб не грешить перед богом, удушил собственноручно? Да вряд ли всех. За всеми не уследишь. Нет, тут не просто кровь. Иван знал о сыне достаточно, чтобы чувствовать родство более глубокое. Но если родствен, если подобен тебе — какие у него могли быть сейчас мыслишки за пазухой? Ох-хо-хо! Опасно было то, что на него уже кто-то возлагал надежды. Все недовольные не могли не думать, что при новом царе будет лучше. А кому и сейчас было неплохо, тоже хотели большего. Иван знал, о чем шепчутся Захарьины, родственники покойной жены, матери вот этого птенца, и давно имел в виду перебрать их малость. А ведь смешно, что попробуют с новым-то, — его, старика, вспомнят и пожалеют. Он вдруг кожей почувствовал, как ненавидит его сын, — то было знакомое с малолетства чувство сиротской горечи: один среди всех. Было, как в детстве, жалко себя. Да что же это, господи! Даже от сына доброты не дано. Ему-то почто судить? Что он знал о жизни, о яростных страстях ее, он, вялый, испорченный от молодых ногтей? Захотелось назло помучить его, подразнить. Он поманил сына поближе и, сам придвинувшись, заметил, как тот невольно отшатнул лицо от его дыхания.

7

— Что дергаешься, сынок? Тебе царем быть — построже себя держи. Я ведь знаю, что ты меня не любишь. Молчи, молчи, я и не требую. Ты небось и Малюту не любишь? Он мне жаловался. А кого же любишь? Родственничков матери-покойницы? Ладно, царский обиход не на любви строится. Но внешность надо блюсти. Все друг друга не

любят, все друг под друга ищут — а царю надобно это знать. Одних усилить, других ослабить, чтоб держалось равновесие. Правило тут простое: что на пользу царской власти, то и хорошо. И надежней всего держится все на страхе. Ты как-нибудь попробуй, напои своих людей допьяна, а писцам вели втайне записывать, кто что станет говорить. Вот где перлы-то откроются. Слушай, Ванюша, слушай. Я тебе сейчас самую истинную науку выкладываю, в другой раз не услышишь. В другой раз и сыну родному не все можно сказать. Сыну даже особенно нельзя. Одному господу... нет, и то не повернется язык. Да ему и незачем. Он и так без нас все знает. А ты должен, что имеешь, оставить детям. Чтобы род не пресекался и держава стояла. С собой не возьмешь... Но это я уже, кажется, говорил. Да хоть и знаешь, что не возьмешь, а как остановиться?.. К чему я? — Он начал тяжелесть и путаться. — Ах, да, о женитьбе.

8

— Жен я тебе и себе подберу. Тут ведь сразу со всех сторон станут подталкивать своих, чтоб породниться, — не до любви. Тут опыт нужен. Я тебя научу, как собрать невест, как их посмотреть сперва в нарядах, потом без оных, как разговор вести. Красота красотой, да надо чтоб и дура не попалась. И о здоровье позаботиться: чтоб повивальные бабки всех проверили, лекарь пусть мочу посмотрит на просвет в стакане. Тут тоже наука. А потом во все глаза глядеть, как бы другие из зависти не извели, избранницу-то. Ведь мать твою покойную извели. А я ее любил, юницу свою, голубушку, от себя не отпускал. Спроси людей, каков был на похоронах, — еле на ногах держался от слез-то. Она ведь ангел была, мать твоя. И она меня жалела, скверного, недостойного, какой ни есть. Ни словом не попрекнула, только плакала, бывало, голубушка, страдалница моя бедная. И я одну ее любил, — сказал он убежденно, чувствуя, как на правом веке, у ресницы, набухла теплая жалкая слеза. Он смахнул ее рукавом. — Что говорят про нас, ты никого не слушай. Бывало, конечно... все мы человеки... Но потом в скольких искал замены — не нашел. Чего только не перепробовал, в какой грязи не валялся! Ты что все так смотришь, сыночек? Думаешь, куда мне, старому? А дай девкам попробовать, еще, может, меня выберут, а? Ну не смотри так ненавистно... и губки вздрагивают, ишь! Шучу,

шучу... и захмелел малость. Ты Дуньку Сабурову знаешь? Как она тебе? А то, может, сам ее испытаю, чтоб не ошибиться, а? Спасибо мне скажешь, сынок.

6. Колыбельная

1

Баю, баюшки, баю,
Баю деточку мою.
Ходит сон по сням,
Дрема по новым.
Сон у дремы все выпрашивает:
«Где найти бы нам Ванюшечку?
Где найдем,
Тут и спать укладем».
Спи, дитяtko,
Спи, родимое,
Я тебя постерегу
От всякого глазу,
От всяких напастей,
От всяких скорбей,
От крови-кровищи,
От лому-ломища,
От злых-от людей.
Мне бог тебя дал,
Христос даровал,
Пресвятая Похвала
В окошечко подала,
В окошечко подала,
Иваном назвала.
Спи, родимый, баю-бай,
Никому тебя не дам,
Ни медведю, ни лисе,
Ни собаке, ни козе...

— И страшному уроду не отдавай.

— Спи, спи, маленький. Никому не отдам. Никому.

2

Ходит сон по лавке,
Дрема по дому.
Сон-то говорит:

«Я спать хочу».
А дрема говорит:
«Я дремать хочу».
Все заснули птицы,
Все заснули звери,
Месяц в небе задремал,
Облак белый в головах,
Спит земля в пуховиках
И во сне не знает зла.
Дремлют все обиды,
Засыпают страхи,
Засыпает боль.
Теплая слезинка
Стынет под ресницей,
И стекает слюнка
В уголочек рта.
Спят все люди до утра,
А лягушки до весны,
Черви спят, закрыв глаза,
Дремлет семечко в земле...

— Семечко тоже до весны?

— До весны, до весны. А проснется, прорастет, хлеб будет. Все будет хорошо. Засни только.

3

Гуркота, гуркота,
А Ванюше дремота...

— Расскажи лучше сказку.

— Какую еще сказку?

— Про девицу.

— Жила-была девица...

— Нет, сразу, где страшно.

— Погналось за девицей черное Чудище, вот-вот догонит. Вынула она из волос гребень костяной, батюшкин подарок, бросила наземь. Вырос дремучий лес: руки не просунешь, кругом не обойдешь. Чудище стало лес грызть.

— Зубами?

— Зубищами. Прогрызло себе тропку и дальше в погоню. А девица устала, спряталась переночевать в стогу. Слышит: залаяла собака, настигает ее Чудище. Бросила

она позади себя платок — сделалось озеро преогромное. А на том озере — остров, а на острове жила бабушка.

— Баба-яга?

— Нет, хорошая. Она девицу пожалела, спрятала.

— А Чудище?

— Чудище стало пить озеро. Пило, пило — все выпило. Девица опять бежать. Только бросить ей уж нечего, нечем загородиться. Тут заступила Чудищу дорогу бабушка, бросилась на него, задержала, дальше не пустила.

— И она спаслась?

— Кто? Девица — да, спаслась. Да спи же ты, спи, наконец, неугомонный.

— А что ты плачешь?

— Это кажется тебе. Спи.

4

Тельце ребенка было горячо, дыхание тяжело, личико жалкое, сморщенное; она с ужасом видела на его щеках и подбородке стариковские седые волосики — он так много успел пережить, что перешагнул за эти голодные недели несколько возрастов и казался созревшим для смерти; только она не отпускала. Она прикрывала его, грела своим телом, отлучаясь лишь для того, чтобы раздобыть еду. Дом опустел, исчез страшный пророк Лука. Далеко уходить от сына она не могла — боялась. Но каждый день в одном и том же месте на снегу она находила перекинутый кем-то через частокол, завернутый в тряпицу ломоть хлеба и не удивлялась чуду.

5

Ох, глупый ты сон,
Неразумная дрема,
Где же вы все ходите,
Моего сынка не находите?
«Мы ходили по лесам,
Да по снежным по лугам,
Банька там в лесу стоит,
Печь не греет, не дымит,
Из оконца слышен вой,
Плачет бедный домовой:
«Ахти мне, бедному,
Ахти горемычному,

Стынут руки-ноженьки.
Никто меня, бедного, не согреет,
Никто сиротинушку не приголубит,
Хлебцем не накормит,
Песенкой не утешит».
«Где ж твоя хозяйюшка?
Где же твоя старая?»
«Долгим сном спит хозяйюшка,
Разметелись волосы белые,
Сердце бедное червями повыедено.
Не добром делилась хозяйюшка,
Не последний хлеб отдала другим —
Отдала она свою кровушку.
Кровь ушла во сырой песок,
Из очей старых трава повыросла.
Кто теперь ее, бедную, помянет?
Кто о ней, о горькой, поплачет?
Два волка горбатых,
Две свиньи хохлатых
Да еще Олена Тимофеевна.
Все она, бессонная, не спит,
Все своего Ванюшу баюкает:
«Спи, дитятко, до утра,
До утра, до солнышка,
А будет пора,
Мы разбудим тебя».

7. Нищие

1

Вопль и крик у паперти, стон и визг: дерутся нищие у храма Покрова. Бегите, православные, смотрите во все глаза: дубасят по головам костыли, бьются тяжелыми веригами, крестами железными, а у кого нет ничего — грызут пальцы зубами, вцепились в бороды, в волосы, царапаются ногтями, плюются слюной, и слюна прожигает кожу. Дерутся юроды, слепцы и калеки за лучшее место. Много в Москве церковей, да не все паперти равны. Дай убогим волю, собрались бы все к сердцевине поближе, к Кремлю: здесь щедрей купцы, здесь больше пришлого богомольного люда, а по особым праздникам разбрасывалась и царская милостыня. Дай волю! А кто же ее не да-

вал? Но не просто доставалось хорошее место. Просто праведнику в рай попасть, а на земле и к паперти пробиваться надо силой либо подкупом, ибо даже здесь была своя власть, свое старшинство, и кто в голодный год умирал без сухой корки, а кто накапливал на старость мешочек медяков.

2

Смотрите, люди, не отворачивайтесь: на рожи в стружьях, как в извести, безносые, безглазые, на лохмотья цвета тления, на лбы, словно вдавленные копытом, на верижные железа, продетые сквозь кожу, чтоб было больней, на скрюченную обезображенную плоть! Не отворачивайтесь, православные, смотрите жадно, радуйтесь в несчастьях своих и бедности: вы все-таки не такие! Создания эти, которых причислять-то к роду человеческому еще можно разве что за остатки словесной речи, нужны вам для утешения, для памяти о превосходстве: они взяли из общей яши несчастий лишнюю, может быть, вашу долю — не отворачивайтесь, подайте им при случае, когда ковыляют сзади, тянутся, хватают за полу: «Хоть в ухо бей, а хлеба дай! Топчи меня — жрать хочу! Подай, боярин! Подай и зарежь! Подай и убей меня!» Подайте: душу будет легче спасти.

3

Вот этот обрубок без рук, без ног — сам бывший палач, кнутобойщик, известный в Москве, попавшийся на воровстве: разве не сладостно теперь пнуть его, помянуть бывшее, спросить, хорошо ли, когда бьют? Сокам тела некуда было податься, они раздавали вширь шею, так что голова переходила плавно в плечи, и он колобком катался под ногами, подсекал дерущихся — кровавоглазый, неистовый, как будто не утерявший веселья, — пока кто-то не схватил его за волосы и стал махать, как палицей, расчищая место вокруг. Вертится слепец, выставив пальцы рогами, наострив уши, чтобы на слух, на нюх безошибочно вознись в глаза зрячим. Смотрите, православные! И если сумеете не отвернуться, не возгордиться, пережить ужас и отвращение, если даже на них хватит у вас жалости, если еще хватит сил помолиться за всех —

тогда что ж. Тогда, может, еще есть надежда: глядишь, опомнимся, переживем, ощупаем уцелевшие кости, залижем раны, оботрем кровавую слюну.

4

Разбегаются от паперти слабые, обессиленные голодом, остаются те, кто сильней, чьи вериги тяжелей и посох острей. Пророк Лука, страшный, черный, раздутый, долго еще гнал к Москве-реке нищенку-кликушу, кидал вдогонку мерзлым калом, пока она не ступила на лед, уже подтаявший у берега; вдруг, провалившись, она пошла ко дну с воплем, таким громким, что все слышавшие его поняли безошибочную и на этот раз мудрость юрода, ибо то мог быть лишь вопль исторгнутого перед смертью беса. Лишь тогда Лука успокоился, отдышался, тяжело пошел наверх, как человек, наведший порядок в своих владениях. Который раз вынужденный начать заново, он добился власти над московскими нищими и имел с них подать — она позволила бы ему жить даже сытней, чем келарем в монастыре, откуда он так вовремя успел улизнуть. Но для этого надо было открыться. Лука решил потерпеть еще; жалко было терять последнюю прибыль. Он ночевал теперь по случайным местам: вернувшись однажды к мосоловскому дому, где оставался его гроб, он увидел ворота, перечеркнутые крест-накрест двумя крепкими досками, и побоялся войти внутрь; заколоченные ворота значили, что дом посетила чума.

5

Наступала весна — пора, когда господь сотворил мир. Зловоние подгнивших снегов отравляло ветер, и уже махнула в дальних краях красным платком безногая рябая дева, насылая мор. Уже велели выехать из Москвы иногородним купцам, пригрозив, кого поймают на другой день после указа, сжечь вместе с товарами и возами, с седлами и уздечками. Заставы на дорогах не пускали никого ни в столицу, ни из нее. Болезнь сжигала человека быстро — так загорается от горящей соседняя хранина. Поэтому двор, куда заглядывала она, заколачивали вместе с жившими в нем, обещая кормить всей улицей, а умерших потом там же и хоронили, но священникам исповедовать не велели под страхом смерти. Каждый вечер, подходя к забору, Лука оглядывался, не видит ли его

кто, потом стучал в ворота ногой и спрашивал внятным голосом:

— Не умерли там еще?

Ждать ответа приходилось иной раз долго, но Лука уже знал, что радоваться рано. И верно, в конце концов откликнулся слабый детский голос:

— Нет, я теперь хожу. Теперь мамка встать не может. А ты хлеб принес?

— Хлеба! Дождешься тогда вас, — вполголоса отвечал Лука и ругался, поминая заморыша, которому давно пора умереть, и того, кто без пользы носил хлеб обреченным (в такие-то времена!), мешая ему проникнуть наконец во двор, где оставался у Луки не только гроб. Иногда он, спрятавшись за угол, дожидался, пока явится Ивашка Нагой, и видел, как он бросает через забор что-то, завернутое в тряпицу.

8. Слон

1

Переставляя громоздкие бревна ног, в однообразии привычной скуки слон, сильнейший из зверей, отмерил громадное пространство земли от персидских нагорий по степным путям, по мягким лесным дорогам к стенам русской столицы. Он нес сам себя в подарок царю Ивану от Тхамаспа, персидского шаха, сладострастника с бородой, красной от хны, и глазами в сливовой поволоке. Не понимая своего движения, приученный слишком долгой жизнью к незначительности перемен, слон лишь изредка поднимал взгляд на поворачивающийся простор, смотрел равнодушно и тупо на воды морей и рек, по которым его везли на шатках ковчегах. Когда-то, давным-давно, он был так ошеломлен властью над собой человеческих малых созданий, что уже не помнил другой жизни и не хотел помнить. Ему нужно было оправдывать мир, в котором он подчинялся им, чтоб не сойти с ума. Поэтому он уверил себя, что эти существа знают что-то, чего не знает он, и куда-нибудь доведут. Весь этот путь, как и вся жизнь, казался ему пока приготовлением, приближением к какой-то более важной цели, — слон терпеливо надеялся, что ему ее покажут и он наконец поймет, к чему так долго шел. Равнина кругом была как растянутое ожидание,

и дорога — пустым промежутком между событиями жизни. Воздух становился жестче и холодней. Насекомые, жившие в складках серой кожи, умерли и сменились другими. Листва бледнела, мельчала, потом вовсе исчезла, и слуга-араб кормил его запасом сладкой репы, которую слон сам хранил на своей спине в корзине из лозы, а жена араба мыла теплой водой его хобот, брюхо и ноги.

2

Чудом не ободрав бока, слон протиснулся через игольное ушко Никольских ворот, над которыми теплилась перед иконой неугасимая лампада. Лошади шарахались при виде его, рвали построжки и опрокидывали телеги — он оставался к этому равнодушен. Какая-то баба забилась с криками на куче мусора и золы при виде небывалого зверя, — слону давно не льстило удивление людей. Мимо тесных заборов, домов и лавок, осторожно ступая по скользкой весенней грязи, по бревнам мостовой, он добрался наконец до кремлевской стены и остановился у рва. Иван обошел его со всех сторон, мотая головой и посмеиваясь, — всегдашний недоросль, жадный до новизны. Он переглядывался со свитой, и та соглашалась ответными взглядами: вот это да! Экая библейская диковина принадлежала теперь ему! Иван слышал из книг, что слон никогда не ложится, он даже спит стоя, прислонясь к дубу, и если упадет во сне, то не может встать, ибо не сгибаются у него колени. Тогда он ревет и зовет на помощь двенадцать других слонов, да еще маленького слоника, — они поднимают его сообща. Но перед Ивановым взглядом отступило само естество слона: и колени согнул великан, и поклонился царю, и хоботом протрубил, показывая треугольный ребячий рот. Араб в праздничном халате с узорами и лазурной чалме выворачивал толстые губы, покрикивал, вращал смуглыми белками и кланялся без конца.

3

Довольный, Иван назначил арабу жалование в два рубля каждомесечно, не считая пропитания слону, а также меда, сукна и всего, что полагалось новоприбывшим иноземцам. Поселить же их велел на кремлевском подоле, у самой лестницы, что вела с холма вниз к погребам,

поварням и хлебням. Каждый день слона выводили ко рву за стеной. К нему привыкли даже лошади, однажды собака задрала у его ноги лапу, как возле столба, а люди норовили выщипнуть из кожи волосок: говорили, если им покадить в доме, ни змея, ни бес никогда не войдут туда. Слон смотрел на людей сверху вниз полусонными свинячьими глазками — неподвижный и поглупевший, как глупеет всякий в толпе, чьего языка он не понимает, и тосковал от догадки, что сам араб чувствует себя так же, — потускнели белки его глаз, опаленные солнцем. Зато жена араба сразу повела себя как баба, понимающая, что нужно пускать корни, где стоишь, и жить сегодня, чем есть. Она быстро приспособилась носить поверх узорчатого платья со штанами теплую русскую душегрейку, перезнакомилась с соседками, и говорить научилась с грехом пополам, и голосисто торговалась с купцами, отодвигая с лица платок, выгадывая подешевле подгнившую к весне морковь и репу для слона, а также мед и орехи для восточных сладостей, которые сама наловчилась готовить на продажу. Понемногу она совсем открыла лицо, и стало понятно: ей было что прятать — до того была страховидна. Черная, краснолицая, усатая, она была похожа на передедого мужика и очень скоро вошла в настоящее тело на русских харчах. Выщипывать из слона волоски она тоже даром теперь не позволяла и цену заламывала такую, будто москвичам больше всего заботы было о бесах и змеях. Зеваки всегда с особым любопытством ждали, когда арапка вывернет из-под русского платья тяжелый парчовый кошель и покажет на миг татарские белые штаны, — зрелище это казалось почему-то более непристойным, чем нагота.

4

Ах, не стоило бы разбитной арапке дразнить кошелем московскую голь, и лучше бы не так ярко сверкать под весенним солнышком ее золотым серьгам! Напрасно чувствовала баба себя защищенной царской милостью в голодном городе — и по-русски понимала она не все, что надо бы. Нищий обрубок скакал за ней по грязи, угрожал: «Купчиха, дай копеечку, а то опозорю, платье разрежу! Хоть морковку дай — дерьмом замажу!» — а она не слышала или делала вид, что не слышит. Ободранный русский дервиш указывал на нее перстом, когда она шла

к Кремлю за телегой, груженной пищей слону, а она не ведала, что он кричит на своем бессмысленном языке,— напрасно, напрасно! Не понимала арапка, до чего обидно было людям видеть целую телегу гнилых овощей, которые по всем погребам давно были изведены. Сколько же добра переводилось на зверя: не его ли ненасытная утроба объедала людей, не от него ли исходил опасный чужой запах, несший заразу и смерть? Что проясняет жизнь лучше, чем ненависть? Насколько становилось проще, когда объявлялся враг и было хоть ясно, с какой стороны ждать гибели, в ком видеть причину бедствий. Может, это не помогало жить, но хоть умирать было проще.

5

К весне хлеба в Москве не стало совсем. Купцы, как всегда, скупив запасы, в продажу, по сговору, его не пускали, выжидая лучшей цены. Из-за куска хлеба могли на улице убить среди дня. А в глухие ночи иные крали тела убитых, и бабы продавали на торгу солонину из бочек, подозрительно розовую, сладковатую на вкус. Смерть давно была не внезапным ужасом, а медленной привычкой, тягостной, но терпимой, как прочая жизнь, она ютилась в домах скорченным зверьком. Купола церквей не сияли, загаженные вороньем. Одолевала мышь. А в монастыре писец, завершая рукопись, просил прощения за ошибки. «Глад был тогда велик в русской земле. За медлел я в сердце моем. Коли ел, коли не ел. Не зазрите моему окаянству, не кляните, но поправьте, ведь не ангел божий писал, а человек грешный и слабый, полный неведения».

6

Неведомый русский праздник собрал на площадь народ. Телега с овощем для слона застряла в толпе. Звенели колокола. Отряд стрельцов прокладывал дорогу шествию. За стрельцами ехал шут на быке, за шутом впереди свиты, в золотом одеянии возвышался на прекрасном коне Иван. Во рву против Земского двора, под кремлевской стеной, рычали, требуя пищи, два льва — подарок английской королевы. Рык их, как неприятное воспоминание, заставил Ивана нахмуриться и поискать взглядом в толпе

плащ и шляпу английского посла. Все хитрили англичане, заставили его выговориться откровенней, чем позволяло достоинство, а сами ответной откровенности не захотели. Иван писал королеве, предлагая взаимно договориться об убежище на случай, если кому-то из них придется бежать из страны, а также о помощи в войне. Королева же ответила обещанием принять его в Англии, если дойдет до такой надобности, в случае же войны предлагала быть судьей между Иваном и противником. Ищет прибыли, а не чести, думал презрительно Иван, не королева, а девица пошлая, обычная. Не понимает, с кем имеет дело. Надо будет сказать, чтоб львов пока не кормили. Он увидел впереди серую тушу слона и направился к нему в предвкушении удовольствия.

7

Слон смотрел поверх головы Ивана, поверх толпы и как будто не слышал гортанных криков араба; дворяне из царской свиты били его древками копий по передним коленям и тоже кричали: «Кланяйся же, кланяйся!» Слон им не внимал, ему было странно, что никто из них не чувствует происшедшего за спиной. От маленького существа у самых ног исходила такая ярость, что коленям было щекотно, и чтобы остудить его, слон поднял хобот, дунул Ивану в лицо теплым сенным дыханием. Шапка слетела с головы царя.

— Ивашка! Ивашка! — раздался вдруг среди толпы кричающий голос нагого юрода. — Не поднимай шапки! Зачем взял ее у меня? Бедный, ах, бедный!

Слон с поднятым хоботом разинул мохнатую пасть и затрубил, вторя дурацкому смеху. Стрельцы обнажили сабли, наставили секиры, чтобы, не смущаясь громадностью зверя, по царскому слову изрубить его на куски. В суматохе кто-то пытался ловить собак, обступивших юрода; они лаяли и вырывались; зрелище это было так потешно, что сам Иван не выдержал. Они смеялись друг над другом, царь и юрод — каждый над нелепостью и бессилием другого, и каждый был по-своему прав. Внезапно толпа расступилась. Лошадь без возницы подкатила к слону телегу. Остатки овощей были залиты кровью. Жена араба лежала на них в сбившемся платье, веревочка от кошель торчала из-под завернутой полы непристойно, как пуповина, мочки ушей были отодраны вместе с серь-

гами. Люди замерли, разинув рты. Голосили, юродствуя, колокола; смех поднимался вместе с весенним паром к голубым небесам, над тусклыми куполами, где кружило, застя свет, воронье.

8

Местом ссылки слону назначили Городецкий посад. Всадник с копьём показывал им с арабом дорогу. Лошадь почти и не оглядывалась на слона, только, подняв хвост, вываливала ему под ноги парные навозные яблоки. А когда смотрела, желтые человечесьи зубы ее скалились, будто она хотела сказать: ну что, неужели и сейчас не понимаешь? Он, пожалуй, уже понимал, уже чувствовал ледяной холодок истины — не умом, а спиной, на которой сидел араб. Когда они добрались до места, тот был уже совсем плох. Слоны легли наземь, чтобы он мог опуститься. Их поселили обоих в сарае, и там араб перестал дышать. Чужие люди вынесли его за ворота, закопали в землю за оградой. Когда они ушли, слон проломил тын и улегся на свежей могиле. О пище для него теперь не приходилось заботиться — он ничего не ел. Кожа обвисла старческими складками, в них копошились русские жуки и черви; они спешили съесть слона, не дожидаясь его смерти, потому что он уже и так гнил заживо. Собаки тоже примеривались, вертелись вокруг живой еще туши, желая откусить, но пугались судорог, которые то и дело искажали толстую кожу.

9

Московский стрелец Панкрат Бобер был разочарован видом зверя, которого его прислали убить, — ничего не забывал Иван, мудрый государь, знавший, что для нужных дел лучше выждать срок и место выбрать в стороне от чужих глаз. Тупой покорный великан видом своим напоминал свинью, хоть и громадную. От дождей под него натекла лужа, черная, как будто смешанная с нутряной гнилью. Панкрат ехал сюда, ожидая опасности, забавы, охотничьего поединка, как в медвежьем бою; но эта гнилая безразличная туша ждала лишь одного — убийства. С пищалью в руках стрелец подошел к слону почти вплотную, пробуя хоть как-то распалить и себя и его руганью. Зверь не шевелился. Тогда Бобер прицелился в него из пищали, как в

медведя, между ухом и глазом. Народ вокруг зашумел — никто не хотел расправы с лежачим. В кои веки в Городецкий посад пришла потеха — редкий праздник, охоты к которому не ослабил голод и мор. В зверя полетели камни. Он долго не оборачивался. Наконец тяжело поднялся на колени, взгромоздился весь, и Панкрат вдруг оказался почти что под ним. Он выстрелил от неожиданности, снизу вверх, и не понял, попал ли вообще. Выстрел как будто и не проник в слона. Он продолжал поворачивать голову так медленно, что стрелец успел насыпать в пищаль порошу еще раз. И лишь когда раздался второй звук, слон ощутил: что-то произошло — как будто раздробило главную кость, которая держала все устройство его тела. Рябь прошла по всей поверхности кожи, что-то вспыхнуло в его памяти — и, задрвав хобот, слон испустил звук последнего понимания.

10

Это была вспышка, когда ослепительным горячим грохотом обрушилась на него память о ярком солнце, яростной крови, о запахах детства, растворенных в ее токе, о солнечных пятнах среди листвы, неистовых, как шкура трепещущего перед прыжком зверя, об утробной черноте ночи, о молниях, сочных и влажных, о крупе слонихи, прекрасном и страшном, как землетрясение, о земле, kloчущей в муках: родовых — и уже смертных, о ледяной истине бессилия. Все это вспыхнуло и уместилось в единственный миг, когда он уже был убит, но еще жил с пулей в мозгу — впервые жил по-настоящему, ярко, и трубный торжественный рев его вселял в сердца не презрительное любопытство, а ветхозаветный восторг и ужас. Что есть наша жизнь, как не растянутое мгновение, уже несущее в себе смерть? Все еще стоя на прямых ногах, он начал как бы рассыпаться, обваливаться внутрь себя, и когда весь уже, казалось, упал — надломилась нога. Тогда к нему двинулись люди с топорами и веревками.

11

Один Панкрат Бобер стоял, опустив в руке пищаль. Трубный звук все еще отзывался в его существе. Ему сейчас тоже хотелось умереть. Сколько раз зверь, которого он убивал, единственный вызывал у него ощущение родства.

Он был более близок ему, чем эти вокруг, которые натравливали их. Еще что-то клокотало внутри слона, из-под бивней пузырилась кровавая пена. Люди облепили голову его, как мухи, кромсали по живому мясу вокруг бивней, раскачивали их веревками, неумело выкорчевывали, точно пни, чтобы отвезти Ивану в свидетельство выполненного приказа. Мясом же, целой горой незнакомого теплого мяса соблазниться, боялись, хоть истекали голодной слюной: смертью веяло от этой гнилой горы. Начали рыть ему яму, но утомились и оставили гнить до утра. Всю ночь посадских жителей пугали странные звуки, доносившиеся от сарая. А к утру слон весь исчез, исчез вместе с костями и шкурой, оставив после себя лишь теплую подсыхавшую лужу, как будто впитался странной частицей в состав глинистой русской земли.

9. Набег

1

Татарская ночь цвела звездами. Благоуханье пота, конского и человеческого, душило запахи весенних трав. Слитный шум копыт, скрип тележных колес, шорох тысячекратного дыхания, чуть различимый звяк удил — облако сдержанных звуков, подобно облаку пыли, обволакивало войско, не расходясь от него далеко. Казалось, по земле ползет единое существо, чудовищное, горячее, переливчатое. Колыхались среди звезд черные верхи шапок, острия копий с конскими хвостами на них, оконечности гнутых луков. Походный запас не отягощал повозок: вшивые меха, да войлочные одеяла, да вяленая конина, да сыр, да сушеное пшено, а в бурдюках бродило хмельной смесью молоко овец, кобылиц и коз. Приземистые лошадки ровно плыли над степью, и все войско, если взглянуть на него сверху, текло жидко, как черная вода, выбирая русло поглубже, по балкам, низинам и оврагам — не разводя огней, избегая речных переправ и сторожевых московитских разъездов. Девлет-Гирей поводил ноздрями, как конь, от полноты жизни, осмысленной под небесами. О, потное ремесло охоты! О плетеные корзины и ременные веревки для живой добычи, для соломенноволосых женщин и девочек, которых будут ощупывать покупатели в Кафе, прищелкивая языком и сбивая цену.

Разумно устроил этот мир аллах. Он создал правоверных, которые для него не жалеют краешка собственной плоти, — но оставил и людей, не знающих истинного бога. Он даже и не хотел, чтобы все оказались обращены в истинную веру, ибо если всех допустить до нее — на кого охотиться, чем кормиться? Он отогнал их на скудный север, оставил пастись для развода среди лесов. Было время, когда они сами несли в срок свою шерсть вместе с головой, когда их князья ходили, вогнув у колпака верх, и кормили из него коня ханского. Испортились времена, дичь становилась опасной, и требовалась осторожность, чтобы самому не оказаться добычей. Девлет с усмешкой оглядывался на сыновей, они ехали чуть позади: красивые юноши, румяные, как девицы, с мягким черным пухом над яркими губами. Оба недавно вернулись от султанского двора, где муллы учили их корану и прочим премудростям (этого тоже требовали новые времена), однако испортить, видно, не успели. Ночные переходы казались им слишком медленными, они горячили коней, распаяя себя злостью и стараясь не дать ей остыть в долгом пути, скакали в стороны и обратно, чтобы убыстрить движение к цели — к битве, к желанной сече, где они могли бы наконец почувствовать себя мужчинами, показать удаль и отомстить безбожникам за поруганную веру, за Казань и Астрахань.

Звездное дуновение шевелило травы, приятно холодило бритую голову, когда Девлет снимал ненадолго шапку. Звезды были сочны и нежны, как бахчисарайские розы, как соски гаремных красавиц в ароматном тенистом саду, где журчит фонтан, где горделиво ходит среди своих рабынь фазаний петух, сластолюбец и властелин. Как хорошо это было издалика — награда по возвращении мужчине, воину, победителю, добытчику! Как молодеда, как горячела кровь! Девлет смотрел в цветущую черноту взглядом женственных глаз: толстяк с добродушным лицом, с губами, хранившими вкус и сок бараньего жира; задумчивая, чуть грустная улыбка всепонимания почти не сходила с них. Вот так он улыбался и тогда, когда давал знак убить полтора десятка соперников, которых пригласил

сил к себе на пир, а среди них был и родной племянник. Мальчикам еще многое предстояло понять; один из них еще наверняка покусится на другого, этого не избежать. И с верой все не так просто, как кажется им сейчас. Кто удерживал его то и дело от похода на Москву? Разве не султан, единоведец и покровитель, желавший, однако, уменьшить удачу и силу Крыма? А кто ускорил набег щедрым золотом? Христианский король поляков; у него с единоведцами были свои счеты. Черкасский князь Темрюк шел с крымским войском, а его сын, принявший веру гяуров, был шурином и полководцем московского царя. Все перепутано под небесами, и угоден аллаху оказывается лишь тот, кто умеет угадать свою пользу.

4

Восток расцветал маками, когда к Девлету стали приводить перебежчиков. Пятеро их явились порознь из разных мест, но говорили все одно: два года сряду по всем городам московским был большой голод и мор. Много вымерло людей, а еще больше выбил сам Иван. На его полях остались скирды необмолоченного хлеба, но голода он даже не пытался уменьшить. Путь к Москве неопасен, передавал их слова краснобородый толмач, сгибаясь в поклоне. К тому же главное русское войско находится на немецкой земле. Небольшой царский отряд выступил к Серпухову, но его можно обойти стороной. Они брались перевести хана через Оку, ручаясь головой за правду своих слов. Девлет приказал накормить их мясом и задумался в своей кибитке, прищурился и без того узкие глазки. Перебежчикам он не верил: он сам посылал обманных гонцов с расчетом на то, что их перехватят, и все готов был считать ловушкой. Как раз единодушные свидетельства его настораживало. Сыновья досадливо переминались с ноги на ногу — застоявшиеся жеребцы. Им казалось, что хан дремлет. А может, сомневается, робеет? От такой мысли можно было заскрипеть зубами. Семь лет назад хан подошел к русской земле, но устранился боя и повернул, ничего ей не сделал. Это было не лучше бессилия перед женщиной: уж если побоятся открыто показывать на тебя пальцем, то будут с ухмылкой перешептываться за спиной: вот, был у русской земли и ничего ей не сделал.

Но нет, Девлет не дремал. Он ждал: лицо степного каменного божка, зрачки в щелках — живые. Шестого перебежчика звали Кудеяр, он был татарин, принявший когда-то крещение, служил русским, сидел за воровство в тюрьме, сумел бежать и стал разбойничьим атаманом. Этот повторил все то же, что предыдущие, но добавил важную новость: исчез из русского войска его начальник, князь Михаил Черкасский, сын Темрюка. Куда исчез, Кудеяр не знал, был слух, что царь внезапно убил его, но, может, и сам сбежал. Соблазнительно было обрушиться врасплох на обезглавленное войско, добавив к добыче славу победы. Разбойнику Девлет поверил. Ему было можно верить, потому что он даже не притворялся бескорыстным, он искал своей доли в добыче. И еще потому, то обрзанная плоть не нарастает наново. Девлет оглянулся еще раз на сыновей и решил обойти Серпухов с востока. На другое утро, вытоптав на пути сплошным боем копыт все живое население почвы, которое не успело убежать, улететь или зарыться поглубже, он вышел к московским посадкам. Огромный плоский город раскинулся перед ним под синими небесами. За рекой на холме виднелась крепость, торчали маковки церквей. Пахло жилым дымом, беззащитной близкой добычей, и ветер дул на Москву с юга, нуждаясь лишь в искре, чтобы своей силой заменить труд целому войску.

10. Огонь

1

Смех, смех слышится в завыванье огня: деревянный город готов защищаться, войска заперлись за стенами, за коваными воротами, пушки повернуты к Москве-реке, и башни полны порохового зелья. Дым от подоженных посадок еще только летел через реку многоглавым растекающимся чудищем, плюясь искрами, а прозрачный жар спешил впереди. Он сушил весеннюю грязь, с посвистом и улюлюканьем подталкивал в спины людское стадо к дальним воротам. Цеплялись осями в тесноте улиц возы и телеги с добром, кони вздымались на дыбы, рвали постромки, топтали бегущих. Красное пламя ужаса одинако-

во отражалось во всех глазах. Упавшие уже не вставали, затоптанные, избавленные от страшной судьбы сгореть заживо. У самых ворот пробивались по телам в три слоя, бились кулаками, а стрельцы-защитники прорубали себе дорогу топорами, саблями, как сквозь неодушевленную чашу. Сами собой звонили колокола. Еще безлиственные ветви, стволы, сухие бревна срубов искажались мгновенной судорожной поволокой и гибли прежде, чем успевали вспыхнуть. Пламя задерживалось у каждой очередной жертвы, чтобы прочувствовать ее, обнимало, охватывало и лишь потом перекидывалось дальше, но почти не отставало от ветра.

2

А навстречу дыму, поперек редящей толпе бежал, ковыляя, по-рыбьи разинув рот, нагой юродивый. Рыжая облезлая сука с торчащими ребрами, скуля, последняя оставила его в этом непонятном, невозможном беге. Улицы схватывались неравномерно. Иван выбирал дорогу с уверенностью и вдохновением безумца, как будто его испытанное огнем тело было неуязвимо и нечувствительно. Из прудов и речек, из водяных рвов, как вздувшиеся пузыри, торчали головы людей. Жадно разинутые рты глотали уже раскаленный, прожигающий нутро воздух. Багровый пар закипал над водами. Небеса заволакивало тьмой, искры летели стрелами, и воробьи с высоты падали, пораженные, вниз. Убегали от огня деревья, мучительно выдирая корни. Сквозь горящие ворота вынесло крытый возок, он вспыхнул вдруг весь, как бумажный, на миг став прозрачным, и там внутри в ярком, словно даже и не горячем, свете взметнулись две черные, навек запечатленные тени.

3

Рыцарь в немецких пластинчатых латах размахивал длинным мечом, пробиваясь к ледниковому погребу. Генрих Штубе освободил под каменным сводом место для себя и своей дворни и собирался уже закрыть дверь, когда увидел у колодца своего соплеменника Вольфа, горного мастера: с ведром в руке и топориком чужак еще собирался защищать двор от огня. Рыцарь выскочил из укрытия и затащил его внутрь. Железная дверь, задвинутая изнутри на засов, уже начинала разогреваться.

Возле беспризорной корчмы замедлили бег колодники, вырвавшиеся из тюрьмы. Прожженные рубахи дымились на их телах. Дверь не надо было даже взламывать, бочки были полны, вино — хоть черпай шапками, окунайся в него головой, орошай страждущее горло струей нежданного дарового праздника. Из щелей и трещин земли стали вылезать к ним сухие насекомые существа, отблескивая твердой позеленелой медью; пьяные смеялись — самые счастливые люди в аду, готовые, не протрезвев, перейти из одной геенны в другую, как будто догадывались, что там будет ничуть не страшней.

4

Съезжился край небосвода, начал скатываться свитком, из трещин хлынула слепящая чернота — но лишь на миг; кто-то успел вернуть все на место. Горящий город был нем для Ивана. Он не слышал завывания и треска, не слышал, как замолкали один за другим колокола, как кто-то кричал и стучал железами внутри Земского двора, брошенного сторожами. Из кремлевского рва в сверхъестественном предсмертном порыве выскочили оба плененных льва, их безумный кошачий визг был страшней грозного рыка, Иван не слышал ни его, ни топота коровьего стада, которое метнулось на площадь со стороны Китай-города, круша на пути остатки торгового мусора. Он только сумел вжаться спиной в помост Лобного места. Львы сами не успели поверить в свою позорную, невозможную смерть, когда по ним пронесся уже вихрь копыт.

5

Вокруг дома за Никольской церковью уже загорался частокол. Перед воротами лежали двое, ухватясь с разных сторон за неподъемный мешок. Один был краснобородый татарин в полосатом ватном халате. Баранья шапка упала наземь, открыв пятнистую от лишаев, сизо-бритую голову. Кривая сабля валялась рядом. Голова другого была разрублена, зубы оскалены, а пальцы вцепились в мешок намертво. Иван не сразу узнал это маленькое сморщенное тельце враз усохшей пиявки: все, чем оно жило и набухало, вышло вон вместе с духом, как вытекал из развязавшейся горловины ручеек позеленевшей меди. Дальше от тел он становился ярче и, плавясь, впадал в реку.

Опять ошибся, просчитался последний раз неудачник Лука. Ради этой меди он жил годами в грязи, сам став кучей грязи, и все дожидался чего-то, чтобы стать человеком, и все казалось рано. Так обманул и татарина: слишком далеко того занесло в грабительском порыве, думал, что-то стоящее, да не сумел выхватить, так и задохнулся в дыму; оба лежали головами друг к другу, как плясуны с подогнутыми ногами, поднявши общую ношу.

6

Мальчик спал на полу среди дыма у живота лежащей матери. Тело ее было холодно, и, наверно, уже давно, но изогнувшись, оно создавало как бы укрытие, в котором сохранялся еще живой для дыхания воздух. Он открыл глаза от прикосновения; Иван услышал его крик как бы внутри себя и вспомнил наконец все: он сам был этот ребенок, скорчившийся у неживого материнского тела; то был крик рождения, исполненный ужаса перед впервые разверзшимся миром. Он нес мальчика на руках, не разбирая дороги, через повалившуюся ограду. Огонь расступался перед ним, пропуская по выгоревшему пеплу к рдеющим водам реки, вдоль ручьев меди, серебра и золота, суливших богатство тому, кто сумеет остаться после пожара в живых.

7

Задыхались в дыму чумные крысы; пожар очищал город от мора и ветоши, от выгребных ям, долговых расписок, жалоб и разыскных дел. Гнойным огнем пылал Опричный двор на Воздвиженке, текли слезами зеркала из глаз резных львов — исчезало вместилище страха, а сам страх уходил в воздух, чтобы вместе с дымом вернуться в кровь. Горели святые с растерянными виноватыми лицами. Сами собой стали стрелять через Москву-реку пушки, оставленные пушкарями. Беззвучно взорвалась башня с пороховым запасом, ее перевернутые черные обломки зависли в багровой вышине. Один за другим падали со звонниц колокола, раскалялись, словно в горниле, и, плавясь, стекали в землю. Подожженные снизу, пылали черные тучи, от их столкновения раздавался гром. Далеко за городом в сухом небе засверкали молнии,

и хан Девлет, со стен подмосковного монастыря смотревший на дело рук своих, пресытился наконец и, словно чем-то смущенный, дал войску приказ уходить.

11. Слепец и поводырь

1

Как у нас было на Руси,
На Руси было, в каменной Москве,
Задумал царь жениться,
Царь Иван сударь Васильевич,
Он усватал невесту себе не у нас в Москве,
Он усватал ее во иной земле,
Не у князя, не у боярина,
Он усватал у татарина,
У того ли черкешанина —
Марью Темрюговну.

Слепец был, несмотря на майский холод, в одной холстинной рубахе, чистой, подпоясанной веревкой. Цвет его тела и волос от старости стал земляным, как будто они обращались в прах, не дожидаясь смерти. Но держался он прямо, с достоинством. Закрытые, глубоко запавшие веки его без ресниц были обращены к небесам, сквозь прокопченную кровлю деревенской избы, а черные пальцы касались струн, извлекая из них однообразные звуки. Суббота Осетр подобрал гуслеяра с поводырем по дороге возле Переяславля и привел к Ивану для забавы, но бог знает чего им при этом наговорил. Слепец явно не ведал, перед кем поет, называл Ивана боярином. Поводырь, взъерошенный жилистый мужичонка в зипуне с рваной прорехой на плече дергался поодаль у сены, как будто хотел толкнуть гуслеяра в бок обрубками пальцев, но Иван показал ему кулак, чтоб молчал. Впервые он слышал песню о самом себе, о царе, уже прозванном Грозным, о своей свадьбе десять лет назад и о Мастрюке, царицыном братце:

Он хочет каменную Москву во полон себе взять,
Он хочет взойти во Кремль-городок,
Он и хочет с нас пошлыны брать:
С ворот поворотные,
А с дымов подымовные,
С молодежи повалешные,
А с девиц подвенешные.

Сам Иван смутно помнил эту свадьбу, разгульные три дня, когда москвичам запрещено было появляться на улицах, когда новокрещенные бусурмане с непривычки упились до чертиков, да и привычные русские были не лучше. Потом уж рассказывали ему про пьяную бесчинную драку, когда покойный шут Осип любопытствовал узнать, как все же выглядит обрезанный — никогда, подлец, не видал! — а вконец осоловелый Курбский полез на царицына брата показывать (может, этого не могла ему никогда простить черкешенка?). В песне князь обратился в лихого сына купеческого Иванушку, а пьяная возня — в честной поединок:

Он первую-то пошибочку пошиб —
 С Матрюка черну шапку сшиб,
 А другу-то пошибочку пошиб —
 С Матрюка сапожки долой сшиб,
 А третью-то пошибочку пошиб —
 С Матрюка-то всю одежку сшиб,
 Оставил его, в чем мать родила,
 Пустил по свету, в чем бабушка повила.
 А Матрюк-то сором ладонью зажал,
 Ладонью зажал, под крыльцо побежал.

Иван трясся от смеха, так что расплескивалось вино в ковше, который он забывал подносить к губам; только сдерживался, чтоб не хохотать в голос, не прерывать пения. Небось так оно и было; он сам вспоминал из тумана кого-то нагого под крыльцом. Так все и было. Татары — да? — изменники! так их, сукиных сынов! Разглядилась глубокие складки на лбу, на время забылись позор бегства и поражения, даже мысль о насмешливом шепоте затаенных недругов. Он велел слепцу петь еще — не подозревая, что может ждать его еще большая отрада.

Как у нас на святой Руси,
 На святой Руси, в каменной Москве,
 Во палатах белокаменных,
 За столами за дубовыми
 Сидит батюшка наш Грозный царь,
 Грозный царь Иван Васильевич
 Со своими князьями и боярами.
 Они пьют-едят, прохлаждаются,
 Промеж себя похваляются.

Богатый богатством хвалится,
Сильный хвастает силушкой.
Говорит тут наш Грозный царь,
Царь Иван Васильевич:
«Ох вы князья, вы бояре неразумные!
Чем-то вы это хвалитесь,
Чем вы перехваляетесь?
Богатство-то вам от меня пришло,
А силушку вам бог дал!
Вы бы мудростью своей похвалялись!
Как я, государь, Казань-город брал,
Симеона царя во полон брал,
Содержал я землю святорусскую,
Вывел измену из Новагорода,
Вывел измену из каменной Москвы,
Все села-деревни ко своим рукам привел!

4

Стариковский высокий голос был негромок и чист, воловьи жилы на гусях вторили ему незатейливым, но ладным перебором. Давно была пуста Иванова чаша, в голове сладко кружилось, и он дослушал песню с прикрытыми глазами. Драгоценней всего была бесхитрость певца — или он все же знал, перед кем стоит? Надо было испытать, подразнить его.

— Измена-то изменой, — сказал Иван, — да не слишком ли много их оказалось? Невинных разве не было перебито?

Старик чуть сжался, напряг, будто жмурясь, брови:

— Не обессудь, боярин. Может, кого и невинных задело. А что делать? Неправды ведь много. Я по Руси хожу, слышу. Зря не казнил бы.

Он явно боялся не угодить неведомому собеседнику, но при всей осторожности говорил все тверже и слепого взгляда не опускал. Нет, хитрости в нем не было. Иван, веселясь, подпустил еще и про Новгород: уж целый-то город мог ли быть виноватым? Но тут он ненароком задел гусяра за живое: в Новгороде тот потерял свет очей; еще отроком, попав туда с обозом из Можайска, ненароком подсмотрел, как новгородские люди убили и ограбили заезжего купца: не удержавшись, крикнул — и заплатился глазами. Низовых они за людей никогда не считали. Их там всех, зверей, мало было перебить.

— Не обессудь, боярин, — повторил он. — Ты, может, высоко сидишь, свысока не так видно. А я Русь знаю на ощупь. Говорят: зрячий не видит, а слепой нащупает.

Нам жестокая нужна рука, не то гибель. Грозно, страшно, а без того нельзя. Многих еще надо вывести на правду, покауда правда наступит. Не обессудь,— опять сжался он, не зная, не сказал ли чего лишнего.

5

А взъерошенный поводырь с обрубками вместо пальцев дергался у стены, но не мог ничего сказать вырезанным языком. Уж он-то узнал Ивана — и поразился, что сделало с ним время. Хоть оно-то справедливо. Он помнил хлябь, по которой мостил царю дорогу бревнами собственной избы, и как невольным бессловесным звуком откликнулся на государевы речи. Потом он долго удивлялся мудрости царя, всеведению его и всесилию: только в мыслях успел подумать худое, опасное, ни словом еще не обмолвился, а уже угадали и мысль, укоротили наперед язык — за дело, теперь он понимал, что за дело. Не было невинных — мыслью грешили против царя все, а безъязыкие еще и толковали друг с другом движениями пальцев, только не могли никому более передать. Он страдал от этого неизмеримо больше, чем от затруднений в еде: без языка нечем было вращать во рту пищу, приходилось подталкивать ее к глотке руками, закидывая голову, как птица при питье. Ему удалось обучиться грамоте у попа, к которому подрядился работать бесплатно — за одну науку; но едва начал писать на бересте, как был схвачен с поличным. Закрыв глаза, он и сейчас видел, как поскакали по снегу, точно живые, скрюченные обрубки пальцев,— их отсекли ему не по суставу, а по кости, чтоб дольше не заживало. И теперь он не мог даже удушить этого слепца, гордившегося своим знанием страны, и не совсем напрасно: людей, подобравших из-под копыт грошик царской милостыни, было, может, не больше, чем убитых им,— зато они продолжали жить и могли вещать неповрежденными языками, могли писать, ибо им сохранены были пальцы. Слезы бессилия и отчаяния текли по щекам поводыря: невозможна была правда на земле, нет нигде воздания ни за муки, ни за грехи — разве только загробная память. Но не останется ничего от воплей и стонов замученных, ибо даже памятью повелевают цари. Возрадуется мой язык о правде твоей!.. Да чем радовать-то? Время справедливо? О нет! В песне Иван оставался свеж, юн, величествен — и останется таким навсегда. Сле-

зы текли по щекам; поводырь твердо решил погубить старика, завести его на мост и столкнуть. А Иван видел эти слезы и сочувствовал их умилению. Он велел наградить слепца крашенинной однорядкой, а поводырю поднести вина горячего от своих щедрот.

6

Неслись мимо пустые деревни. Иван убежал дальше на север; на телегах вслед за ним тряслись сорок коробов с казной. Прекрасная ширь поворачивалась вокруг. Несмотря на конец мая, здесь еще не изо всех оврагов ушел снег. Озера и пруды стояли твердые, льдины плыли по рекам: поздно дошла нынче весна до северных мест. Земля дышала паром. Кричали на гнездах грачи. Какое преимущество — владеть страной столь просторной, что неделями не доберешься до края. Никакая потеря здесь не пугала окончательностью. Здесь все было — мелочь, поражения не значили ничего, пожарища можно было застроить вновь, а погибшие? — они погибли бы все равно. Важно было лишь то, что связано с ним, а значит, с судьбой державы, с ее будущим. Что мог поделывать враг с такой страной, пока она изнутри едина, пока его власть остается несомненной? Пускай поживятся малость татары, пускай потешатся. А ось заодно прикончат и тех, до кого у самого пока руки не дошли. Слепцы не зря видят правду чище зрячих. Куда устремлены пустые глазницы их, залитые молоком бельма? К небесам, к небесам. И там услышат именно этот голос, а прочее осядет, как донная муть. Он вспомнил, как стоял с мужичонкой строителем, возвышаясь над рухлядью московских построек и словно заранее видя их обращенными в пепел и прах. А небеса — вот они. Рухляди суждено ветшать, гнить, гореть — земля сама обрастет новой. Москву всю перестрою заново, думал он, краше прежнего. Жаль, мастера того уже нет. Найдется другой, и не один. Земля богата. Пять тысяч... нет, семь тысяч каменщиков завтра же велю собрать отовсюду, чтоб строили новые стены. Только вот денег достать.

7

Крымские послы разыскали Ивана в Вологде. Они вошли в бревенчатую, как будто недостроенную палату широкими наглыми шагами победителей, но тут же запну-

лись от удивления и несколько шагов сделали, сбившись, как стрекоженые лошади. Иван сидел на некрашеной скамье, наряженный в мужицкую чистую сермягу, баранью шубу и рваный колпак. Бояре вдоль стен тоже были наряжены, как мужики. Посол Девлет-Кильдей задохнулся от ярости и, забыв про чин, грозным голосом начал сразу с требования дани. Пока татарин-толмач переводил, с явным удовольствием подбирая русские слова пообиднее, лицо Ивана не шевельнулось. Он дождался конца перевода и сказал:

— Рад бы удружить брату моему, царю Девлет-Гирею. Но видите, в чем я? Так меня хан ваш отделал. Все мое царство выпленил, казну пожег. Что мне теперь хану дать?

Посол нетерпеливо слушал непонятную речь, усы его вокруг рта шевелились. Но по мере того, как толмач переводил слова Ивана, тратя больше слов, чем было русских, Девлет все заметнее свирепел. Он лишь тут вспомнил, с чего должен был начать, и передал царю подарок. Подарок был бесчестный: нож, и значил он без слов: пусть Иван зарежется от позора. Слуги схватились за оружие, грозно придвинулись, татары тоже потянулись к саблям, но из кривых ножен их не вынули, несколько опомнясь. Нож блестел на ладони посла, отсвечивая тусклым светом, который проникал сквозь слюдяные оконца. Девлет бросил его перед собой и резко повернулся, почувствовав, что лучше разговор продолжить не сейчас — но еще не зная, что он вообще не продолжится: больше Иван татар к себе не допустил, проводить велел добром, а дани не дал.

12. Феникс

1

Вопил воздух, касаясь обожженной кожи. Мальчик спал на руках Ивана, прижавшись к его сердцу, успокоенный звуком биения, памятного по материнской утробе. Он был тонконогий, закопченный, голый, только голова прикрыта грязной Ивановой шапкой; живот вспух от долгого голода. Жар опалил с его лица волоски преждевременной старости, оно опять было красным, как у новорож-

денного, стало теперь несомненно, родственно сходным с обожженным лицом Беспамятного. Чистая младенческая слюнка стекала с уголка запекшихся губ, в полуоткрытых глазах не было ни страдания, ни страха. Зрачки растворились в пустой синеве. С неба падали черные хлопья. Ветер ерошил седые волосы Беспамятного. Собака с опаленной, утерявшей цвет шерстью и выпирающими, как черный скелет, ребрами, подошла к нему, целительным языком стала облизывать сладкую сукровицу ожогов.

2

Вдруг мальчик вскрикнул во сне и схватился свободной рукой за темя. Шапка упала от движения наземь, мальчик, успокоясь, затих. Иван поднял колпак. Что-то шевелилось в прорехе сукна. Беспамятный осторожно извлек слежавшийся паутинный комок. Он был теперь с ладонь величиной, чуть сдавлен и прорван снизу — там, где прижимался к голове. Влажное, тонкое, как у громадной стрекозы, крыло выпрастывалось из него, расправлялось, на глазах становилось больше. Одновременно высвобождалось и расправлялось крыло другое — вовсе, однако, не стрекозиное. По мере того как оба обретали очертания, различимы становились переливчатые тончайшие перышки, тоже еще влажные и мягкие на взгляд. Они наполнялись сиянием, все более ослепительным, а посреди виднелось уже птичье тулово и маленькая головка с прямым перепелиным клювом, с рыжим прекрасным глазом. Иван изумленно прикрыл взгляд тыльной стороной руки, еще сам не веря своей догадке.

3

Он слышал когда-то от безумного толмача о птице, что родилась на восьмой день после сотворения мира, по одним свидетельствам — в Индии, по другим — в Аравийской пустыне. Вырвавший у нее три пера мог узнать тайну жизни и смерти, но этим он убил бы ее, единственную во Вселенной (и было изумления достойно, что этого еще никто не сделал), ибо она не имела пары и не умела нести яиц. В шестьсот пятьдесят четыре года один

И

Иван Иван Иван



Иван

**ИВАНИВАНИВАН
Иван ИВАНИВАНИВАН
ИВАНИВАНИВАН**

Иван Иван

Иван Иван Иван

Иван Иван Иван Иван Иван

Иван Иван Иван Иван Иван Иван Иван

раз она, как рассказывал толмач, прилетала в Египет, чтобы умереть там в огне, стать гусеницей и через сорок дней возродиться. Но до Ивана вдруг дошла недостоверность этой слишком красивой сказки — ибо огня хватало, увы, повсюду, а срок возрождения давался не так просто. Нужен был пот горестного человеческого тела, тепло его мучительной страстной мысли, дабы гусеница могла обратиться в куколку и потом стать птицей. Не то она могла прозябать, сохнуть годами, дожидаясь нелепого страдальца, который станет доискиваться памяти и смысла и пронесет ее сквозь многократную муку огня, сүлящего обновление — зачем? оно еще было бы посильно душе, способной забывать, — но что, если, выйдя из пламени, птица эту муку помнила?

4

Черной радугой заполнило до краев небосвод, он весь обратился в ослепительный мрак, и, вскрикнув от невыносимой боли, Иван запрокинул к зениту изумленное лицо с незрячими отныне глазами. Нагой мальчик на его руках видел черное это сияние сквозь сомкнутые веки сновидения и улыбался блаженной улыбкой новорожденного, не знающего о предстоящем. О, если бы ему не дано было заполнить свое существо памятью столь чрезмерной! Наверно, она должна исчезать и подменяться, дабы в поколениях всякий раз заново начиналась вера в смысл. Когда прижимаешь тесней это тельце, чтобы вобрать в себя его боль, нельзя думать о жизни, как о юдоли бессмысленного зла и скорби, — что ему до этих слов, малому, беспомощному, успокоенному на твоих руках? Поводырь слепца, он еще пройдет по русской земле, наращивая на ветру кожу стойкости, переживет смерть царя и гибель его сыновей, поражение, смуту и подвиг, которым страна сумеет спастись и воспрянуть, а однажды услышит долгую сказку про дурака Ивана, прозванного Беспамятным: как он явился из дыма и гари, жил в келье книжника и в тюрьме, был ничтожен и сидел на троне, убивал и был убит — не созданный, не способный для жизни обыденной, но для какого-то служения избранный и проведенный сквозь времена.

Радужное оперение отражается в невидящих глазах. На запрокинутое лицо слепца, на смеженные веки спящего опускается снег, принесенный сбитым с пути вихрем из краев полуночных, где не бывает летом темноты, где еще несутся к бескрайнему океану льдины. Он падает на траву, уже проступившую сквозь сожженный прах жизни, сквозь жухлую листву и отмерший сор. Он утишает воспаленные пепелища, и они вздыхают, испуская пар. Он покрывает недолговечной белизной землю, словно целебная повязка. Прохладные, нездешней красоты кристаллы исчезают близ раскаленной кожи человеческих тел, дивными касаниями охлаждая чело и душу. О цвет забвения — белизна! О прохлада, обещанная страдальцам в садах успокоения, где не дождевая влага, а невесомый снег среди лета овеет измученные язвы, и ветви обугленных вишен зацветут небесной белой кипенью! Закрученный огненным смерчем ветер носится над землей, мешая зиму с летом. Он вбирает в себя дым пожара и запах остывающих пепелищ, дух тщеты и гнева, отчаяния и упорства, любви и жертвенности. Мы дышим этим ветром, мы вслушиваемся издалека в его смутный гул — из него рождается напев нашей музыки и новые, данные нам временем слова.

Крошась и меняя очертания, встают на дыбы льдины, плывут торчком, громоздятся, уже обреченные исчезновению. Плывут прибрежные желтые ломти и голубые льдины дальних мест. Плывут целые поля, еще хранящие на себе белый снег, обломки хоженной дороги с санной колеей и вешками, отмечавшими безопасный путь, с клоками сена, со следами копыт и еще свежим навозом. Плывут сани без лошадей, вздев к облакам оглобли. В цельном куске льда плывет прорубь, а возле нее волк, едва наступивший зайца, но тут же потерявший вкус к еде, — плывет, положив лапу на окровавленную ненужную жертву, сам покуда живой. Несутся в край студеного забвения надежды, муки и торжество, недолгая слава и богатство. Скорчась, как в материнской утробе, лежит на тающем снегу путник в лохмотьях, сваленный посреди реки ветром, уста-

лостью или морозом, тело просвечивает синевой сквозь прорехи. Уплывают воины неведомой битвы: один лежит на спине, широко раскинув руки, рядом с вмерзшим в лед шлемом, другой словно еще силится встать на колени, но в том месте, где положено быть голове, розовеет пузырь, припорошенный снежком. Белый застывший конь высится изваянием над павшим хозяином. Один за другим несутся они мимо оцепенелых невидящих берегов, готовые погрузиться в пучину, — действующие лица забытого зрелища.

1980

Содержание

День в феврале

5

Прохор Меньшутин

65

Этюд в масках

187

Два Ивана

303

Музей в Нечайске

502

Марк Сергеевич Харитонов

День в феврале

Редактор

В. Г. Клименко

Художественный редактор

Е. Ф. Капустин

Технические редакторы

Н. Н. Талько и Н. В. Сидорова

Корректор

И. Н. Голубева

ИБ № 6397

Сдано в набор 29.03.88. Подписано к печати 9.11.88. А 05432. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Школьная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 26,88. Уч.-изд. л. 27,47. Тираж 30 000 экз. Заказ № 199. Цена 2 р. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109